



## Собрание сочинений

Юзеф Игнаций  
Крашевский

*Перед бурей*  
*Шнехоты*

*Путешествие в городок*



Юзеф Игнаций Крашевский

**Перед бурей. Шнехоты.  
Путешествие в городок (сборник)**

«Э.РА»

1876, 1881, 1859

УДК 821  
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

**Крашевский Ю.**

Перед бурей. Шнехоты. Путешествие в городок (сборник) /  
Ю. Крашевский — «Э.РА», 1876, 1881, 1859

ISBN 978-5-99062-249-4

Действие романа «Перед бурей» происходит накануне восстания 1830 года в Варшаве. В нём отображена политическая ситуация в стране: деспотизм правительства, подготовка к восстанию, действия шпионов и патриотов. Роман «Шнехоты» рассказывает историю двух братьев, которые в юном возрасте ненавидели друг друга, однако жизненные обстоятельства заставили их потом помириться. Сказка «Путешествие в городок» рассказывает об интересных похождениях мальчика Янека.

УДК 821  
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-99062-249-4

© Крашевский Ю., 1876, 1881, 1859  
© Э.РА, 1876, 1881, 1859

## Содержание

Перед бурей	6
Конец ознакомительного фрагмента.	42

**Юзеф Игнаций Крашевский**  
**Перед бурей. Шнехоты.**  
**Путешествие в городок**

© Бобров А.С. 2018

## Перед бурей Сцены из 1830 года

На улице Святого Креста, в невзрачном кирпичном домике в два этажика с чердаком, выглядящем старомодно, внизу жил сапожник Ноинский, прозванный рюмкой, по той причине, что сильно припадал на левую ногу, с другой стороны – столяр Арамович, наверху весь небольшой этаж занимал пан Бреннер. С тыльной стороны разместились Матусова, которая торговала овощами и сиживала с ними в Старом Городе в ларьке, а напротив Арамович имел магазин дерева и часть мастерской. На чердаке, который представлял маленькое холостяцкое жилище с двумя неизысканными, но чистыми и тихими комнатками со св. Иоанна прошлого года квартировал молодой человек, служащий в бюро Комиссии казначейства, которого звали Каликстом. Все жители этой маленькой каменички знали друг друга и были между собой, не исключая сторожа, занимающего *in ultima Thule*<sup>1</sup> в самой тыльной стороне пару комнатушек, почти в дружеских отношениях.

Сторожа именовали Дыгасом и он должен был как-то подобно зваться в действительности, хотя его доверчиво также называли паном Ласантом – что, несомненно, происходило от Каласанта.

Является каким-то правом той достойной природы, которая знает, почему это делает, что бедным семьям всегда детей хватает. Богатым часто их сохранить трудно, бедным приходят неожиданно и, хотя бедняки часто сделают на это недовольную мину, позже Бог обращает это в добро. Точно так в каменичке, о которой речь, детей и подростков было, как бобов. Ни пану Дыгасу, ни первому этажу удобно от этого не было, потому что дети имеют свои законы и много также беззакония прощать им нужно. Забирались по лестнице без какого-либо доброго намерения даже на крышу, залетали в тыльную часть дома, хозяйничали в маленьком дворике, а крик и шум внизу были невыносимыми. Сапожник Ноинский, кроме того, имел двух озорников на учёбе, у столяра был один ужасный сумасброд, Ёзек Матусовой был не лучше их. Старшие жили друг с другом в хороших отношениях и примерно, но молодой этот народ часто драл кошек и набивал себе ужасные шишки.

Единственную власть и полицию держал в своих руках Дыгас, человек старый, медлительный, глуховатый и не имеющий достаточно энергии эти толпы приручить.

Владелец каменички, который получил её после женитьбы и в ней не жил, редко сюда заглядывал и проводывал только о том, когда, упаси Боже, нужно было убедиться в каком-нибудь необходимом ремонте, засведительствованном Дыгасом, – исправлении желоба, обивки ставен, обновлении брусчатки и тому подобном.

Для жителей первого этажа<sup>2</sup> население, занимающее низшие сферы, было бы невыносимо, потому что и сапожник весь день стучал, и столяр колотил, и в воротах всегда было как на рынке, если бы это не были на удивление терпеливые и спокойные люди. Первый этажик, низкий, некрасивый, давно не обновляемый, в котором и двери не до конца закрывались и окна отставали, полы и печи оставляли желать лучшего, занимал пан Бреннер с семьёй. Семья его состояла из очень красивой дочки, панны Юлии, уже расцветшей и созревшей, и её тётки, вдовы, пани Малуской. Кухарка и маленькие девочки были к помощи всего двора.

Бреннер, которого, неизвестно почему, называли паном советником, был уже человеком лет пятидесяти, маленьким, крепким, похожим на множество мужчин среднего роста, ходящих по улицам. Узнать его в толпе было нелегко, а описать, как выглядел, не менее трудно.

---

<sup>1</sup> Буквально на краю света (*лат.*)

<sup>2</sup> То есть второго.

Казалось, что или природа, или искусство дали ему, как некоторым животным, какую-то стертую краску, не поражающую форму – чтобы мог проскользнуть по свету незаметным. Бреннер держался так же, как все, не выделялся ничем, и соседи каменицы, видящие его ежедневно возвращающимся домой, часто не сразу узнавали. Лицо имел бледное, выбритое, глаза тёмные, бегающие, беспокойные и чаще всего опущенные, речь тихую, движения какие-то мягкие и ускользающие. Казалось, всю жизнь не слушает ничего, ни на что не смотрит, мало кого знает и не ведаёт ни о чём.

О нём также так мало кто знал, и те, что с ним жили в одной каменице, имели самые разнообразные убеждения о его занятиях. Сапожник Ноинский называл его ростовщиком, столяр Арамович был уверен, что он торгует пшеницей. Вопрошаемая Матусова отделялась этим – «разве я знаю, а мне что до этого!!»

Бреннер никогда никого у себя не принимал, почти все дни проводил вне дома и на глаз не казался совсем ничем не занятым. Пани Малуская, тётя, говорила то, что он имеет пенсию и на неё живёт, потому что раньше был в государственной службе, но в люблинском воеводстве. Ходили слухи неведомого источника, что Бреннер служил в комиссариате и на каких-то поставках скопил деньги.

Всё-таки его прошлое и настоящее покрывала непроницаемая темнота. С утра – иногда уже в семь часов – его видели выходящим на Новый Свет и исчезающим там среди толпы. В середине дня редко кому удавалось его встречать, но несколько раз, однако, видели его выходящим из кондитерской, из трактира, из кофейни. Однако никогда, несмотря на это, никто его не встретил под влиянием алкоголя и даже повеселевшего. Лицо имел всегда одно, бледное, грустное и как бы вечно встревоженное.

Случалось, что его несколько дней не было дома, бывало, что возвращался ночами – всегда, однако, в одном настроении и расположении.

Дома весь день никогда не просиживал. Слякоть, ветер, холод, жара – ничто его от обычной прогулки не воздерживало. Не жаловался даже на это. Здоровье, несмотря на свои пятьдесят лет, имел крепкое и отличное, во вкусах неразборчивый. Обходился лишь бы чем, принимал что ему дали. Все жители каменички поглядывали на него с некоторым уважением и с большим любопытством. Была это для них ходящая загадка.

Жизнь на первом этаже была скромная, но благополучная; там никогда не чувствовалась ни нужда в кредите, ни охота показать себя.

Бреннера почти никогда, пожалуй, только вечером, в доме застать было нельзя: распоряжались, поэтому тётя Малуская и панна Юлия.

Тётя, бездетная, добрая, тихая, немолодая женщина, молчаливая, послушная, или молилась по книжке и делала чулки, или со сложенными на груди руками рассказывала панне Юлии о доме князей Сангушков, у которых её покойный муж в молодости был смотрителем. Тётя любила племянницу как собственного ребёнка, помогала ей, служила, и если бы панна Юлия не была очень мягкой и доброй, могла бы её вполне завоевать. Отец также был привязан к этому единственному ребёнку – как идолопоклонник. Возвращаясь домой, первый его шаг был к Юлке, первый вопрос – о ней. Малейшее её недомогание отрывало его от занятий, так что по несколько раз прибегал домой узнать о ней. Для Юлки не было вещи не слишком дорогой, ни слишком трудной для приобретения – счастьем, что дочка самых скромных запросов редко чего желала.

Она очень рано потеряла мать, один отец с помощью тётки занимался её воспитанием. Ни на что не жаловался: самый лучший пенсioen, самые дорогие учителя, всё, чего могла требовать учёба, имела Юлка по запросу. Случилось также, что в пансионе, на лекциях, во время довольно долгой учёбы дочка пана Бреннера оказалась среди панинок гораздо выше неё общественной сферы, приобрела манеры, а из наук так много подчёрпнула, что, вернувшись домой, должна была почувствовать себя очень одинокой.

Пани Малуская, честная женщина, золотое сердце, несмотря на соприкосновения с двором князей Сангушков, так практикой жизни немного образованная, такая наивная и просто-душная, что с ней, кроме как о привидениях, духах, о отпусе, о кухне и погоде, мало о чём ещё можно было говорить. Она знала также немного популярную медицину; лечила от боли зубов, от рожи (очень эффективно), лихордки и ревмотизмов.

Сам Бреннер в те короткие мгновения, которые проводил с дочкой дома, тоже не показывал слишком высокой образованности. Никогда ничего не читал – не имел никаких ведомостей; за исключением «Курьера» Двухшевского, дома ничего другого никогда не было; но отношения и пружины живой жизни знал досконально.

По этой причине разговоры с ним и с тётей не много доставляли удовольствия Юлке. Зато очень много занималась музыкой, которой училась у Элснера, часами играла на фортепиано и неизменно много читала.

В выборе книжек она была предоставлена полнейшей свободе, так же как, вообще, во всей жизни, потому что отец и тётка имели неограниченное доверие к её разуму и характеру. Из пансиона в городе у неё были различные знакомые, к которым ей было разрешено ходить, гостить, возвращаться, когда ей нравилось. Брала с собой маленькую Агатку, велела ей иногда приходить за собой, а тётя даже никогда её не сопровождала.

Очень редко, пожалуй, какая-нибудь из подружек навещала её и оставалась на несколько часов.

Панна Юлия была довольно высокого роста, сформировавшейся фигуры, благородных черт, милой, но, может быть, не по возрасту слишком серьёзной. Её красота и свежесть в этой Варшаве, которой всегда хватало красивых личиков, могли избежать взглядов, потому что не была навязчивой и сверкающей – но восхищала каждого, кто к ней приблизился, кто её узнал, услышал, кому улыбнулась. Несмотря на свою серьёзность и некоторую грусть, разлитую на лице, она обладала тем неизмерным очарованием, которое притягивает даже в некрасивых особах, тем более, когда соединённое с благородными чертами, почти классических форм. Юлия одевалась очень просто и скромно, но с несравненным вкусом, с поражающей элегантностью. В самом простом платье выглядела великой госпожой.

Жильцы дома, с которыми она была любезна и вежлива, находила её, несмотря на это, аристократкой и не смели быть с ней в доверительных отношениях, когда с тётей Малуской жена сапожника Ноинская, жена столяра Арамовича были в такой близости, что, ходя к ней за лекарствами, часами сживала на беседе.

Все эти дамы звали её: «высокообразованной» панной и предсказывали ей очень прекрасную судьбу. Особенно Ноинская, восхищаясь игрой Юлии на фортепиано, была уверена, что выйдет за обывателя, за урядника или даже, может быть, за какого-нибудь генерала. Всё это было возможным.

Хотя генеральский ранг тогда, ставя на вид высоко тех, что были его удостоены, открывая ворота в дальнейшую карьеру, вовсе не давал независимости.

Ибо это было в то памятное правление, в ту особенную диктатуру великого князя Константина, которая странным образом как-то согласовывалась с конституцией благословенной памяти императора Александра.

Князь Константин, Новосильцев и весь Бельведер были коррективой, не допускающей, чтобы Королевство приняло эту конституцию всерьёз. На бумаге стоял закон, на котором словно в насмешку было написано: *neminem captivabimus nisi iure victum*<sup>3</sup>, а почти каждый день тюрьмы самых разнообразных названий: Доминиканцы, Кармелиты, Мартинканки, Брюловский дворец, погреб в Бельведере, жильё Аксамитовского, ратуша, где управлял Любовид-

---

<sup>3</sup> Никого не обвиняем без судебного приговора (лат.)



ский, старый zuchthaus, казармы артиллерии наполнялись людьми, схваченными под малейшей видимостью какой-то вины, а скорее тени мысли или преступного расположения.

Грохот княжеской кареты, стремглав пролетающей по улицам, опустошал их и пугал как буря, несущая молнии. При виде его всё дрожало. Особы высшего положения, кода их вызывали в Бельведер, испытывали страх, хотя бы виновными себя не чувствовали.

Редко в истории встречается такой терроризм, пользующийся таким разветвлённым и таким – скажем правду – немощным шпионажем. Год 1826 и потом 1830 дали наилучшие доказательства этого. Деспотизм Константина был таким дельным стимулом для удержания и возрастания патриотизма, что почти ему главным образом следует приписать пробуждение и поддержание духа. Самым систематичным на свете образом обращали глаза народа на всё, что, будучи запрещённым, становилось из-за этого одного жадно требуемым и желанным. Малейший признак самобытности, немилосердно наказуемый, суровое наказание, продвинутое до смешного, обратили внутрь духа, сделали сильней его, подняли, раздражили почти до бешенства. Великий князь, своевременно осведомлённый о мелочах и детских выходках, не имел, помимо этого, ни малейшего понятия о настоящем состоянии умов. Ловили внешние признаки, дух взять никто не мог. Предчувствовали его, догадывались, преследовали его – напрасно.

У дверей Бельведера расцветал самый горячий патриотизм, незамеченный всей той шпионской фалангой, которая никогда глубже в общество запустить взгляда не могла. Деспотизм великого князя так хорошо научил лгать и салон, и улицы, что оба никогда поймать себя ни на чём не давали.

Рапорты, которые составлял Любовидский<sup>4</sup>, которые приносили Макроты, Юргашки, Бирнбаумы<sup>5</sup> и те, которыми те прислуживались, были полны подробностей и пустые. Доносили о смешных нарушениях; о том страшном кипятке, который кипел на дне, едва было какое-то тёмное предчувствие.

Князю, растопляющему камин трудом Сташица<sup>6</sup>, преследующему тех, что осмелились взять в руки номер французской газеты, что аплодировали в театре многозначительному слову, казалось, что подавил дух, отобрал мужество, убил всякие фантазии свободы – когда тем временем он и его помощники распространяли либеральные и революционные идеи. Преувеличение даже в деспотизме – опасно...

Раздражительность князя делала его попросту смешным. Рассказывали друг другу по всей Варшаве тот случай в Бельведере, когда однажды ночью князь, разбуженный шумом в соседнем покое, едва набросив на себя шлафрок, сбежал на чердак, а, посланный на разведку камердинер Кохановский, открыл виновников, бунтовщиков в фаворитальных обезьянах князя, которые, выкравшись из клетки, начали развлекаться пушечными ядрами, бомбами и военным инвентарём, которого всегда было полно в углях.

Подобных переполохов было несколько в Бельведере. Раз прокрадывающиеся через валы за дворцом контрабандисты водки, на которых напала стража, – всех живых призывали к оружию. Испугались, не зная чего, хотя огромная армия платных охранников безопасности должна была ручаться за неё, а стоящие выше генералы Зандр, Крута и другие следили за высшими сферами. Войско было поддерживаемо в неслыханной суровости – малейший шаг, слово, взгляд были контролируемы, каждый час чем-то занят, постоянная муштра не давала ему ни вздохнуть, ни подумать, ни сделать шага. На молодёжь, бывшую всегда в подозрении, особенно обращали взгляд, признаки либерализма читали иногда в незастёгнутой пуговице, в чуть более длинных волосах – но сердце было тайной. Учились только лжи и осторожности. Почти также

---

<sup>4</sup> Матеуш Любовидский (1787–1874) – вице-президент Варшавы при вел. князе Константине.

<sup>5</sup> Шпионы, во время вел. князя Константина.

<sup>6</sup> Станислав Сташиц (1755–1826) – учёный, писатель, ксендз. Участник Четырёхлетнего сейма.

чудесно там, где каждый шёпот был подслушиваем, самая невинная книжка запрещена, разговор наказуем, мощно развивался дух, гигантски.

Общество представляло интересную картину, практически единственную в истории современности. В высших сферах, сильно офранцузенных, где практически польского языка нельзя было услышать, тихоньку смеялись и жаловались на великого князя, но его угнетение не казалось, однако, невыносимым. Там опасались, может быть, революции также, как в Бельведере, и отвращение к ней имели равное. Некоторого рода апатия овладела всеми. Жизнь там, где не соприкасалась с политикой, была им почти удобна. Остальные говорили, что князь не бессмертен. Через адъютантов князя, в число которых входили самые прекрасные польские имена, через связи вырабатывали себе какое-то *modus vivendi*<sup>7</sup> с которым можно было смириться. Тут патриотизм ограничивался вздохами, молчанием, мечтами и гас каждую минуту. Более значительная часть почтила благословенную память воскресителя Польши. Здесь не допускали даже возможности какого-то дерзкого порыва. Слишком знали мощь России.

Даже такие люди, как генерал Хлопицкий, играя вечерами в вист, ведя сибаритскую жизнь, остерегались малейшей тени патриотизма и мрачно принимали его страхи.

В среднем классе были ещё живы воспоминания о 1794 годе, тут патриотизм, не давая себе отчёта в средствах, в силах, всегда был полон надежд и желаний. В деревнях с наивысшей заинтересованностью читали газеты, из европейской политики вытягивая выводы для будущего и веря, что восстановление Польши было Европе необходимо, что первая война должна была его вызвать даже без содействия Польши – полагали, что восстановление её как-то чудесно должно было произойти.

В собственные силы верила только та молодёжь, которую князь Константин парализовал, обездвигал, опутал и выжимал из неё отчаянную отвагу. Тут никакая угроза, никакие рассказы о Лукасинских, о других заключённых и исчезнувших либо на Сибирь вывезенных, не смогли подорвать решение храброго порыва. Но тут также дивно рассчитывали на элементы, которых не знали, на многочисленные фантазии, на недоказанные симпатии, тысячные комбинации, которые никогда оправдаться не могли. Героизм ослеплял. Верил в то, что опьянит своей силой, потянет, захватит, разгорячит – и действительно, удалось ему мощным порывом унести за собой даже тех, что не имели ни малейшей веры в будущее.

Не имел её ни князь Чарторыйский, ни Хлопицкий, вынужденный принять диктатуру, ни весь высший круг военных, ни многие из тех, что потом играли деятельную роль в событиях. В минуты, когда начинается наш роман, не было, может быть, даже предчувствия, что что-то готовится и вяжется. Никто не предчувствовал такой наглости.

Догадывались о заговорах, горевали над ними и над жертвами, какие они тянули, – никто не верил, чтобы под бдительным оком полиции великого князя могло что-то укрыться и дозреть до восстания.

Со всем на свете можно освоиться... высшее общество наконец привыкло к деспотизму князя; потихоньку смеялись над ним, а в нужде имело дороги к княгине Ловицкой, к Круте, к Стаю Потockому, к адъютантам, к фаворитам, даже к бельведерской службе, чтобы добиться себе позволения или прощения. Мещане в углах рассказывали друг другу забавные анекдоты – сиживали Под Белым Орлом (тюрьма) на часах, – и как-то жилось. Прибывающий в Варшаву обыватель остерегался даже шляпу, неприятную князю, надеть на голову – тихонько проскальзывал по улице, не говорил ничего, наслушался недомолвок и счастливый возвращался под спокойную крышу дома. Было чем заниматься, потому что можно было безнаказанно насмехаться над гигантскими проектами Любецкого, Неваховича и Сполки, Дюплера, понемногу над проектами Дзушевского, вывести какое-нибудь остроумие старого Жолковского, на ухо рассказать о театральных интрижках и парике blond Раутенстраха и т. п.

<sup>7</sup> Временное соглашение (лат.)

В деревне иногда несмело, в поле звучало: *«Ещё не погибла, Третье мая»* либо какая-нибудь другая песенка, но, упаси Боже, на именинах или балу лишь бы с чем громче отзываться, сразу бы это отразилось в Варшаве.

Бывали практики, что заезжали жандармы к спокойным обывателям – и везли их в Модлин или Замостье.

\* \* \*

В эти времена угрозы и тревоги в тихой каменице на улице Святого Креста панна Юлия часами, задумчивая, играла на фортепиано, пани Малуская проговаривала молитвы, Хоинский шил ботинки для подхорунджих и офицеров, а Арамович стульчики и столики вытёсывал равно для русской гвардии и двора великого князя, как для населения столицы. Здесь, в ремесленных мастерских не знали о Божьем свете, кроме того, что тот, кто не снял шапки на улице перед великим князем, тот шёл Под Белого Орла. Не смел мальчик, идущий с ботинкам, задержаться напротив Саксонского дворца, когда происходил парад, потому что, кто знает, что могло его здесь встретить. Были часы, в которые находиться на улице избегал каждый. Известен был анекдот о том шляхтиче-старичке, который, стоя неподалёку от Константина, смотрел на парад и, сам беря понюшку, угостил ею князя, за что пошёл в тюрьму...

С хладнокровием шляхтич, воротившись домой после той бани, повторял, что научился тому, что избыток вежливости может иметь плохие последствия.

В улочке было спокойно, дети могли свободно забавляться у ворот, не опасаясь катастрофы. Редко тогда пролетала официальная фигура, одна из тех, что, шепча, показывали друг на друга пальцами. Жители нижнего этажа, хотя их жизнь и деятельность Бреннера достаточно занимали, наконец с ними освоились, объяснили также себе довольно одинокое и тихое появление на чердаке пана Каликста. Глядели уже на него в течение целого года. Он также входил и выходил в обозначенные часы довольно регулярно, всем вежливо кланялся, никогда ни с кем ни о чём не спорил, хотя дети пускались под его дверь, шумя, точно его вызывали, – и имел тут славу очень порядочного юноши. В первые месяцы даже жители первого этажа совсем его не видели, а пани Матуская знала его только по описанию кухарки и Агаты.

Пан Каликст не выглядел урядником, хоть служил в Комиссии казначейства и ревностно в ней работал. Это скучное занятие у столика над официальными бумагами ещё его не погубило, не сломало, не стёрло с его лица юношеской свежести, не отняло у него ни весёлости, ни энергии. Приятно было смотреть на него, так в нём смеялась резвая молодость, которую укачивает мечта и оживляют надежды.

Господь Бог скорее создал его на солдата, чем на писака, потому что осанку имел рыцарскую, движения смелые, взгляд ясный, вырос буйно и виден в нём был потомок шляхетской семьи. Пан Каликст Руцкий действительно происходил из старой шляхты из Сandomирского, теперь неимущей, но не такой бедной, чтобы о своём прошлом забыла. Было их двое братьев, старший на год Людвиг находился в Школе Подхорунжих, Каликст начинал с весьма скромной сверхурочной должности чиновничьей профессии. Имел сверху протекции, от которых ожидал поддержки. Вместо этой службы он бы, несомненно, предпочёл поступление в университет, что и его брату улыбалось, но отец, старый наполеоновский солдат, так распорядился – должны были слушать. Сразу обоих хотел отдать под великого князя, чтобы там научились дисциплине, потом восхищённый Любецким, Каликста предназначил на урядника.

Оба ходили сначала в Лицеум в Варшаве, имели там многочисленные знакомства – и как-то смирились со своей судьбой. По крайней мере по пану Каликсту не было видно, чтобы на неё жаловался. Лицо его было всегда светлое и улыбающееся. Немного был поэтом, хоть это плохо согласовалось с навязанным ему канцелярским призванием, большой любитель Мицкевича и романтиков, читал много и в тогдашних литературных спорах принимал живое, хоть невиди-

мое, участие. В своей комнате наверху, ежели имел свободную минуту, посвящал её также, как панна Юлия, чтению книг, которые добывал себе самыми разнообразными способами, часто только на несколько часов, потому что покупать их было не на что.

Тогда он поглощал их жадно и разгорячался ими почти до безумия.

Там, где на первом этаже проживает красивая и музыкальная девушка, наверху – той же разновидности юноша, было бы чудом, если бы они не встретились, не познакомились, не оценили друг друга взаимно.

Первой пани Малуская пробудила в спокойной панне Юлии интерес узнать соседа – без какой-либо злой мысли отвечая ей, что узнала о нём от кухарки и Агатки. Обе они чрезвычайно занимались красивым юношей. Знали, что он носил книжки, что читал по ночам, что иногда, когда панна Юлия играла, отворял окно, хоть было холодно, чтобы лучше слышать, что был очень вежливый и деятельный. Тётя его однажды встретила на лестнице, которая была довольно тесной, он уступил ей дорогу и весьма мягко поклонился.

Бреннер, который почти никогда не бывал дома, никогда с соседом не встречался, никогда не вспоминал о нём, когда однажды тётя что-то упомянула о пане Каликте, показывая любопытство узнать, кто это был, он удивил её и дочь очень точной информацией о соседе. Годилося догадываться, что как заботливый и предвидящий отец он должен был постараться о том, чтобы на всякий случай знать, с кем имеет дело.

Бреннер, как всегда, сухо, протокольно рассказал, кто был отец пана Руцкого, где жил, сколько деревень имел, в каком ранге вышел из войска, что был лично знаком с генералом Красинским, что имел двоих сыновей, и чем они занимались.

Панна Юлия также выслушала этот доклад, но вполне равнодушно.

– Несмотря на то, что это довольно голая, – закончил Бреннер, – но также и гордая шляхта. Отец, хоть отдал одного сына в войско великого князя, но князь его не любит. Имеет, слышал, мух в носу<sup>8</sup>.

Бреннер выражался таким образом обо всех людях менее спокойного характера, к которым не имел симпатии. Сам был человек ужасно спокойный и регулярный. В семейном кругу даже избегал всего, что бы на минуту этот праведный покой могло нарушить.

Между ним и дочкой, например, уже даже не далеко видящая тётя Малуская заметила некоторую разницу убеждений, столкновения которых отец как можно старательней избегал. Панна Юлия, воспитанная среди своих ровесниц из старых шляхетских семей, которые сохранили горячую любовь к родине, была также горячей патриоткой. Бреннер, никогда отчётливо не объявляя чувства к приёмной родине (поскольку был какого-то неопределённого происхождения), обходил молчанием этот предмет, а порой даже потихоньку отзывался: «Глупость...»

Дочка должна была это и заметить, и предчувствовать и, однако же, хоть отца боялась и была ему послушна, как бы специально часто очень горячо говорила о Польше и своей привязанности к ней. Казалось, это выводит отца из себя, он молчал, бормотал, иногда говорил: «Оставили бы это в покое», но дочку не обращал. Уже позже оба избегали раздражающего предмета. Сколько бы раз случайно или патриотическую книжку, или запрещённую песню не находил у Юлки, отец с видимым недовольством её бросал, а не смел ничего ей сказать. В такие редкие минуты, когда семья собиралась вместе, а заходила о чём-то речь, как заключение, какое-нибудь наказание, насильственный поступок князя, пани Малуская и панна Юлия жаловались на суровость и угнетение, Бреннер ходил молчаливый и пожимал плечами. Его это, очевидно, выводило из себя. Чаще всего он заключал разговор:

– Оставили бы это в покое – глупость.

Раз или два формально он обвинил молодёжь в излишнем подвергании опасности себя и семьи, добавляя:

---

<sup>8</sup> Показывает неудовольствие.



– Всё глупость и ни к чему не пригодится.

В этом году Бреннер казался более деятельным и хмурым, чем когда-либо. Выходил иногда до наступления дня, а возвращался ночами, мрачный и кислый, и едва говорил с дочкой. По несколько дней неожиданно он совсем исчезал, а когда его спрашивали, отвечал, что имеет дела. Какого они были рода, о том ни дочка, ни сестра жены не имели ни малейшего представления. Что они, однако, не были плохими и оплачивали труд, это видно было из запаса, какой собирал Бреннер. Не только денег в доме всегда была предостаточно, но покупали шкурки и складывали капиталики.

О богатстве отца дочка даже не имела ясного понятия, так как с этим он никогда не исповедовался, режима жизни не изменял, только дочку, чего она требовала, снабжал охотно и без труда. Требования её были очень скромные. Для себя Бреннер также очень мало в чём нуждался. Малуская имела какую-то пенсийку от семьи мужа, которой ей хватало на небольшие нужды.

Пан Каликст так легко, может, не познакомился бы с панной Юлией, если бы не настоящий романсовый случай. Вечером того дня, когда и кухарка была в городе, и Агатку послали за сухарями, пани Малуская, ходя неосторожно, свечой подожгла в салоне шторы. А так как чрезвычайно боялась огня, начала испуганно вопить: «Горит! Горит!», отворила двери выбежала на лестницу. От сапожника разошлись люди, никто как-то не услышал крика или его не понял, когда пан Каликст сбежал сверху, бросился в салон, оборвал шторы, залил огонь и, очень быть может, что не только от страха, но и от опасности избавил этих дам. Тут, естественно, встретился глаза в глаза с панной Юлией, которая с равным, как он, хладнокровием и мужеством помогала в подавлении огня. Вскоре оба даже смеяться могли над случаем, маленькой неприятностью, хоть законченной великой тревогой. Тётя плакала от страха и благодарности.

Спасителю невозможно было не задержаться на минуточку, особенно, что он очень и сразу понравился, что дал узнать себя лучше, чем обычно при первой встрече, и что он равно, как и панна Юлия, почувствовали друг к другу симпатию, что-то родственное в душах своих. Пан Каликст заметил какую-то книжку, что-то смекнул, поняли друг друга в одних симпатиях и отвращениях. Панна Юлия была также поклонницей Мицкевича.

Завязалось неожиданное, дивное знакомство. После ухода соседа панна Юлия как-то долго о нём думала. Тётя постоянно говорила о нём. Пан Каликст был как молнией поражён видом красивой Юлии – сразу почувствовал себя влюблённым и это приводило его в отчаяние, потому что чувствовал себя связанным и невольником.

На первом этаже и на верху почти одни чувства, одинаковые решения родились – панна Юлия чувствовала, что юноша произвёл на неё впечатление, какого не испытывала в жизни; имела намерение защищаться, гневалась на себя за избыточную чувствительность и сентиментальность. Каликст пробовал шутить сам над собой, пожимал плечами, потом бросился к книжке – не мог читать, хотел заставить себя, преследуемый воспоминанием, взялся за работу, та не шла, сколотил стишок, порвал его и, приведя в порядок немного обожжённые руки, очень поздно пошёл спать.

Когда ночью уже вернулся домой Бреннер и застал на пороге тётку, спешащую с рассказом о несчастье и спасении, внимательно глядя на него, сказали бы, что гораздо больше беспокоился прибытием на помощь соседа, чем самим происшествием.

На самом деле он ничего не сказал, но вместо того чтобы расспрашивать о неприятности и опасности, доведывался, каким образом мог сюда попасть юноша. Панна Юлия, которая слушала и смотрела на отца, поняла это и сильно зарумянилась. Как ни крути выпадало, чтобы хозяин пошёл благодарить храброго юношу; тётка, давая ему это невыразительно понять, думала, что сам до этого догадается. Бреннер, однако, вовсе, видно, не желал этого знакомства и главным образом, казалось, беспокоиться тем, что оно в некоторой степени завязалось само.

Эта забота была такой очевидной и для Юлии, видно, обидной, что после ухода тётки она почувствовала себя вынужденной сказать отцу:

– Вижу, что ты, папа, опасаясь этих отношений и знакомства, но прошу быть спокойным. Я не была легкомысленной и ей не являюсь, и для меня нет ни малейшей опасности.

Отец, который боялся любимому ребёнку сделать неприятность, начал объясняться, почти извиняться, оправдываться; не ушло также от его глаз, что Юлка была сильно взволнована, почти обижена и всё-таки непривычным образом этим задета. Он утешался, причинив временное неудовольствие, тем, что оно, однако, будет предостережением и предотвратит дальнейшее сближение молодых людей.

Совсем противоположного мнения была, по-видимому, тётка, которая видела в том, как бы перст и волю Божью, а в пане Каликсте самого желанного мужа для дорогой племянницы. Этого, однако, она никому не разбалтывала. Обещала только молиться по этому случаю.

Бреннер, человек неизменно ловкий и хитрый, как оказалось, на завтра выбрал такой час для выхода из дома, чтобы как раз на лестнице встретиться с паном Каликстом. Очень холодно с ним поздоровался.

– Я слышал, – сказал он, – что вы были так любезны вчера прийти в помощь моим женщинам в этом их переполохе. Позвольте вас за это поблагодарить. Я так занят и в таких часах домой возвращаюсь, что мне иначе трудно было бы вам этот долг оплатить.

Пан Каликст сказал только, что это была очень маленькая услуга, не заслуживающая никакой благодарности, а Бреннер, избегая дальнейшего разговора, тут же ускорил шаги и – ушёл.

Хотя пан Каликст сам себе, по-видимому, в этом не признавался, однако же в первый раз на следующий день начал искать средства встретиться, увидиться с прекрасной Юлией. Это не было лёгким. Отношения с тётей поддерживались как можно лучшие, но панна не показывалась.

Совпадением или инстинктом, не знаю уже чем следует назвать, но спустя несколько дней потом, когда панна Юлия возвращалась через Саксонский сад с Агаткой домой, на дороге попался Каликст. Не задумываясь над тем, что делает, не заботясь о том, не будет ли дамам назойлив, – поклонился, приблизился, и начал разговор, говоря себе в духе, что если панна Юлия будет от него избавляться и покажет ему явную холодность, тут же с ней попрощается.

Панна в самом деле ужасно зарумянилась, сильно смешалась, но в ту же минуту восстановила хладнокровие, весёлость, и не то что не оттолкнула пана Каликста, но, не показывая ни малейшего кокетства, с серьёзностью и великой простотой завязала с ним беседу, вовсе не стараясь его отпихивать.

Было жарко, поэтому начали с общих фраз, дошло до музыки, которой пан Каликст был очень большим любителем, потом на поэзию и книжки.

Начали говорить о «Марии» Малчевского, о балладах Мицкевича и нескольких неопубликованных его стихах. Каликст удивился, что панна Юлия знала их, некоторые даже заучила на память. Говоря о поэзии, исключили чувство. Однако беседа молодых людей вовсе весёлой и легкомысленной не была. С первых слов Каликст заметил, что перед ним не кокетливая девушка, но женщина не по годам взрослая, почти на глаз холодно и здорово судящая обо всём. Шутливый тон вовсе не приставал к её расположению – легко ему пришлось его изменить.

От поэзии перешли к историческим романам Вальтера Скотта, которые тогда занимали своей новизной и красотой. Тогда как раз выходил «Монастырь», переводили коллективными силами, к которым и Гошчинский в значительной мере принадлежал. Оба не заметили, как от Саксонского сада прошли значительное пространство к улице Святого Креста, обмениваясь мыслями, улыбаясь друг другу и всё сильнее чувствуя, что друг с другом во всём дивно соглашались.

– Не считай, пани, за зло мою навязчивость, – сказал в итоге Каликст, видя, что уже до каменицы было недалеко и желая сначала попрощаться с панной, чтобы возвратившись с ней вместе, не давать повода к сплетням хромому Ноинскому, который постоянно смотрел в окно, и ребятам Арамовича, – я не заметил, как убежало время, и мог вас утомить. Но не принимай, пани, этого за комплимент, настоящую красоту вы набросили на меня, не мог устоять...

Юлия серьёзно поглядела на него, но без гнева и мягко.

– Если бы я гневалась, – отвечала она, – и если бы мне, без лести, разговор с вами приятным бы не был, я бы попрощалась с вами сразу в Саду. У меня есть привычка, может, до избытка быть искренней и открытой. Для вас этот разговор не был какой-нибудь редкостью, потому что вам гораздо легче, наверное, найти общество... У меня нет никакого. Однако же должна вас предупредить, – прибавила она с улыбкой, – что отец мой очень суров и, хотя мы так близко друг с другом соседствуем, даже пригласить вас к нам никогда не смогу.

Она говорила это так естественно, что пан Каликст не мог ни объяснить себе эти слова иначе, как звучали, ни вытянуть из них ничего. По тону, по голосу было видно, что была искренна, а глаза говорили, что была добродушна.

– А, пани! – воскликнул Каликст. – Это было бы слишком большое счастье для меня, на самом деле, я никогда бы в этом не смел признаться. Пусть мне, однако, будет разрешено, если когда-нибудь счастливый случай позволит нам встретиться...

Панна Юлия зарумянилась, молчала, Каликст, видя, что приближаются к каменице, быстро с ней попрощался. Ни Ноинский, ни ребята Арамовича, ни недостойный мошенник Ёзек незаметили Каликста, провожающего панну, но – от тётки тайна укрыться не могла, потому что из окна на первом этаже видно было далеко, а пани Малуская, читающая книгу с помощью очков, отдалённые предметы отлично различала. Вдобавок Агатка шла за панной, а была болтушкой, что бы и смертный грех разболтала.

С опущенной головой, панна Юлия одна, задумчивая, возвратилась домой. Тётке так было срочно поговорить с племянницей, что вышла навстречу ей на лестницу. Не смела заговорить, а пылала любопытством.

Юлия, снимая плащ, сразу сказала:

– Знаете, тётя, с кем я встретилась?

– Я догадалась... а скорее, признаюсь тебе, дорогая, издалека видела.

Юлия сильно зарумянилась.

– Ну, тогда мне уже не в чем признаваться, – сказала она весело.

– Но, напротив, говори, потому что горю нетерпением, как же это было? Как?

– Случайно встретилась с ним, возвращаясь, в Саксонском саду.

– А! Случайно, отлично! – прервала тётка. – Хочешь, чтобы я поверила в случайность!

Плут-парень шпионил за тобой, искал, ждал и настоял на своём.

– Но не может быть, – возмутилась Юлия.

– Почему? И что же в этом плохого? – говорила тётка. – Я почитала бы его слепым, если бы в тебя не влюбился, а признаюсь тебе...

Не dokonчила и спросила:

– Прицепился и провожал?

– Ну, так, если тётя хочет, то прицепился... Разговаривая, мы шли почти до каменицы, но он имел столько деликатности, что раньше со мной попрощался.

– Потому что умный, потому что порядочный, что называется, – прибавила тётка, хлопая в ладоши. – Зачем же Ноинский сразу сделал из этого какую-то историю!

Помолчали немного, а пани Малуская вздохнула.

– Не говорю я ничего никогда против отца твоего, умный человек, отец добрый – но почему бы также не пригласить его домой... С каждым другим я понимаю осторожность, но

это человек образованный, приличный, ты не по возрасту степенна. А впрочем, для чего же я тут суммирую?

Она рассмеялась, пожимая плечами.

– О том и речи быть не может, – заключила Юлия.

Действительно, она закончила даже разговор, обращая его на иные предметы.

На следующий день они встретились случайно на лестнице. Пан Каликст нёс книжку, показал её, панна Юлия заинтересовалась ею, просил, чтобы взяла её почитать и отослала ему потом. Не отказала. Напротив, Юлия поглядела на него весьма дружелюбно, подала ему руку. Они были как-то близки друг с другом, добры, без кокетства и без тревоги, как брат с сестрой.

Расстались с тем чувством, что снова должны встречаться и видеться будут, хотя этого друг другу не сказали. Только Агатка и кухарка шептали потихоньку, что холостяк сверху к их панне уже зарекомендовался. Тётя, подслушав разговор, сильно их упрекнула, объяснила невинное знакомство пожаром, и велела молчать.

Кухарка, однако, что-то доверчиво намекнула о том Ноинской, а та, женщина большого опыта, сказала ей на ухо:

– Я давным-давно знала то, что этим должно закончиться. Сударыня моя, кровь не вода... оба словно созданы друг для друга, но что старик на это скажет? Гм! Тут сук.

– Старик! – сказала кухарка, задумчивую голову опирая на локоть. – Старик... а кто нашего пана отгадает? Скажите, пани мастеров, кто из нас его знает? Я у них служу, каждый день его вижу, думаете, пани мастеров, я его до мельчайшей подробности знаю! Никто даже не знает, что он на свете делает.

– Уж это правда, – поддакивала Ноинская, понижая голос и шёпотом выговаривая признание. – Потому что он или служит, или торгует, или разбойничает, или чем-то там на свете хлеб зарабатывает, никто, ей-Богу, никто не умеет отгадать.

– Вы думаете, пани мастеров, – добавила кухарка, – что его самые близкие, Малуская или ребёнок родной, знают его ходы и заходы, ей-Богу, столько, что и мы, пани мастеров, или я...

– Но может ли это быть, моя сударыня, – шептала Ноинская, вытирая нос природой данным для этого инструментом, – слыханная и виденная ли вещь, чтобы это так скрывалось? Господи Боже, отпусти грехи, могло бы показаться, что там что-то криво стоит, когда так людских глаз боится. Сударыня моя, как например, когда мой старик ботинки шьёт, не таится с тем, или тот Арамович, что стульчики колотит, известно о том всему свету. А тот – служит не служит, торгует, мошенничает – кто его знает. Это правда.

– Святая правда, моя пани мастеров. Или то также, что к нему никто никогда прийти не придёт. Выйдет рано, весь день его нет, на обед, как бы не имеет своего часа, приказание есть: не ждать. Часто вернётся, когда мы уже спать собираемся, только панна всегда, не раздеваясь, ждёт его... и ждёт. Прилетит, как бы от горячки, с позволения, врывается сразу в своё бюро. Из кармана какие-то бумаги выбирет и на ключ закроет.

– Что вы говорите? Бумаги? Он носит бумаги? – прервала Шевцова.

– А как же! Полные карманы! А так о них помнит – как зеницу ока бережёт. Запихнёт в бюро и закроет. Раз, единственный раз так получилось, что в сюртуке что-то забыл, я скажу мастеровой, с позволения, в одной рубашке он вылетел сразу в сени, чтобы достать эти бумаги. А бледный был, трясся, аж страх.

– Если я прошу кого, моя сударыня, – отозвалась Ноинская, – то всё-таки не без причины... конечно, бумаги, должно быть, важные.

Она наклонилась к уху кухарки.

– Я вам скажу, я бывала... это ни что иное, как деньги, которые под процент одалживает. Но когда Матусовой пятьдесят злотых было нужно, расступись земля, а пошла его просить – не дал.



– Не дал?!

– Не дал! Сказал: «Разве я какой-нибудь процентщик, капиталист? Откуда у меня деньги?». Хотела Матусова залог дать, тогда ещё накричал на неё и хлопнул дверью. Только на следующий день Малуская, будто бы из своих денег дала ей на две недели под процент. Не кокетство ли это? Хо! Хо! Думает себе: знают ли они, чем я занимаюсь? Ноинский придёт, придёт Арамович, разгласятся большие проценты... сразу человек упадёт в цене. А так, что на Праге или на Солцу станет, кто его знает? И человек себе пан редчайший, и остерегаться нужно.

Кухарка кивала головой.

– Уж как вы это, пани мастерова, выкладываете, как бы человек смотрел... наверно, должно быть не иначе.

– Я скажу вам, – шепнула таинственно Ноинская, – у него своя контора где-то в городе... Где бы он сидел по целым дням? Где?

– Очевидно, – сказала кухарка, – пани мастерова, также не тайна, слякоть ли, грязь ли, мороз ли, молнии бьют ли, он должен выйти, чтобы там, не знаю что... должен.

Обе кумушки замолчали.

– Я поклялась бы, – добавила Ноинская, – что денег имеет много.

– Кто его знает? Поэтому сам себе на обувь почти жалеет...

– Впрочем, добрый человек, – поправила мастерова, – нельзя плохого сказать!

Кухарка странно склонила голову направо и налево.

– Чтобы был плохой, этого я также не скажу. Не сумасброд – человека не обидит, но, чтобы снова к нему можно было пристать, нужно быть дочкой, пожалуй... Э! Панинку то уж любит как нельзя лучше – но столько свечей и воска. Уж Малускую считает бабой, а остальной свет...

Махнула рукой.

– Дочке-то рад бы небеса пригнуть – это правда, но и только... Зеница ока для него. Для неё бы на самые дорогие вещи не поспешил, а для себя белья не справит и ходит в залатанном.

– Ну и что с тем романом будет, как вам кажется? – спросила Ноинская.

– Кто их знает! Наша панна, как отец, замкнута, даже не выдаст, что думает. Малуская готова бы посредничать. О! Баба! Аж рот не закрывается, но с нашей панной... Мне видится, что ни дочка, ни отец и никто не будет слушаться друг друга на свете. Как чего хочет или не хочет, то там напрасно рот остужать...

Ноинская кивнула головой.

– Кавалер степенный, отец, слышала, около Сандомира деревню имеет, брат под великим князем в войске. Никогда тут в каменице не видели, чтобы самые маленькие любовные похождения на нём были. Молодой, приличный.

– Пани мастерова, – отчеканила кухарка, – уж Богом и правдой, и панне также ничего требовать не нужно. Красивая, панское образование и отец деньги делает.

– Что это? – спросила Шевцова. – Разве не знаешь ты, что шляхте прислуживала, что такой Бреннер, может, происходит из евреев или швабов, что ещё хуже... это всегда только смердит... Гм! Гм!

– Ну всё-таки, моя мастерова, когда есть деньги...

– О! Вот правда, моя сударыня, деньги, деньги! Пусть бы их свет не знал! Всё зло от них. Человек лезет из кожи вон, работает – не экономит, а такому вот, что руками ничего, только головой работает, людей обманывает, сами ему идут в карман. Ей-Богу...

Кухарка, которая стояла с корзиной, надумала наконец выйти в город, и занимательный разговор на этом прервался.

\* \* \*

Никогда, пожалуй, может, только накануне Четырёхлетнего Сейма, не было столько оживления в Варшаве, как в этом году, который должен был стать памятным ноябрём. Но Четырёхлетний Сейм, исключая минуту перед оглашением устава 3 мая, явно работал и влиял на страну, – движение 1830 года должно было всё себя скрывать. Малейший его признак был подозрительным и не проходил безнаказанно. Вся бесчисленная фаланга шпионов самого разного калибра и ранга особенно следила за молодёжью, в которой подозревали революционный дух. Практически было виной собираться на беседу и чуть громче объявить более смелое мнение.

Каждое утро князь получал рапорты, в которых читал, что вчера произошло в столице. Мы уже говорили, что вся эта искусная машина не много пригодились, редко ей удавалось действительно что-то важное подхватить – но была вынуждена за деньги, которые стоила, чем-то расплачиваться, приносила мелочи и служила для мучения людей, для преследования их страхом. За меньшие провинности, за невнимательные слова выше расположенные особы вызывали в Бельведер – что уже было наказанием – за подозрения, когда падали на тех, с которыми не нужно было делать много церемоний, тянули в тюрьму. Здесь часто одного следствия хватало, чтобы вызвать болезнь человека, довести до смерти, ежели чего находили.

Несмотря на эту суровость и аргусово око, никогда, может, не было большей охоты к заговору. Заговоры были в воздухе, патриотичные стихи обегали Варшаву и провинции. Хватали их, не в состоянии получить исполнителей, расплачивались те, у которых их полиция хватала. Почти каждый день приносили князю какие-нибудь строфы, которые его побуждали к ярости.

Любовидзкий со всей своей армией никогда не мог подхватить больше, чем то, что плавало на поверхности. Тут и там появлялся виршек, начерченный углём на стене, кусочек бумаги, прилепленный к стене; писали рапорты. Состояние духа объявлялось даже слишком очевидно, но жилище его ни один глаз выследить не мог. Кто бы мог допустить, что одним из очагов была находящаяся под боком и оком князя Школа Подхорунжих? Молодёжь никого из старших не допускала к тайне, боясь, как бы их холодный разум не остудил её запала. Рассчитывали на многих, не зывали к совету никого.

Одновременно с патриотическим движением и профсоюзным задушенное и удерживаемое цензурой литературное выливалось за её берега.

Чего печатать было нельзя, то кружило, переписываемое.

Так же, как заговорщики чувствовали необходимую нужду свободы для народного духа, литераторы видели необходимость разрыва тех уз, которые на них надевали бессмысленная организация школ и педанство. Из Вильна и Литвы вышло это реформаторское движение, которое было только отражением пробегающего по Европе тока. Польская молодёжь, порвавшая на какое-то время традицию равномерного хода с западом и цивилизацией, заново прививала и вязала. Варшавский классицизм был выражением бессмысленного, гнусного консерватизма глупцов, скрывающих свою наготу за статуями древних мастеров. Мицкевич поднял хоругвь прогресса, жизни. С одной стороны была смерть, с другой – может, иногда безумная, выросшая, но живая жизнь. Между фалангой тех, что держались с трупами, и отрядом горячих рыцарей будущего кипела война, перчатку для которой бросил Мицкевич сочинением, адресованным варшавским критикам. У генерала Красинского и в других домах горячо спорили о романтизме и классицизме, под которыми скрывались попросту жизнь и движение – смерть и онемение. Между воюющими отрядами стояли грустные, не зная, куда идти, чтобы не покинуть братьев, сладкий певец «Веслава» и остроумный Моравский. Козьмиан тем временем кидал молнии в новаторов и славу лагеря поддерживал умершими в зародыше поэтами.

Мысль ведения той борьбы не для всех была ясна, но эпизоды её побуждали. Спорили о рифме, о размере, о предмете, о выражениях, о мелочах с неслыханной запальчивостью.

В этом на вид невинном бою, в который трудно было вмешаться полиции, князь и его клика видели, однако же, одно – движение, которое пробуждало от сна умы и слишком оживляло людей, некоторую смелость и независимость. Было немного революции в романтизме, а последователи его состояли из элемента, ненавистного князю, который только под карабином и под палкой охотно глядел на молодёжь.

Поэтому полиция бдила также над Литературным кафе, над литературными вечерами в домах, над редакциями самых невинных сочинений, как над самыми подозрительными очагами.

Спустя несколько дней после встречи с панной Юлией на лестнице Каликст, который любил прислушиваться к разговорам о литературе и учиться из споров, какие почти всегда вызывались, вечером пошёл в кафе. Он знал нескольких особ, принадлежащих к литературному кругу, и был допущен в него, хотя среди этого круга очень скромно выделялся. Тут всегда можно было узнать о недавно изданных и перспективных книгах, о судьбе сочинений и ежедневников, которые думали создавать. Что до политической прессы, развитие той было совсем невозможным в эти минуты – даже думать о ней не смели, поэтому, с тем большим запалом бросались к литературным проектам, к которым охота и желание были хоть отбавляй, но на средствах. Практически вся горячая молодёжь была зависимая и бедная, а старые меценаты присоединялись к противоположному лагерю.

Несмотря на несколько сочинений, нужда в литературном сборнике была признана всеобщей. В нём должны были размещаться и новые работы, и полемика о них. Увы – на это издание, такое желанное, не хватало меценатов и фондов. Распространение в то время было относительно небольшим, в деревнях читали по-французски или не читали вообще, подписные издания развозили апостолы<sup>9</sup>, навязывая их стонущим на налоги; издание, поэтому, должно было иметь меценатов и поддерживаться пожертвованиями, своей силой возникнуть не могло.

Речь шла также и об определении программы, а тут одни становились на краю к борьбе, другие с Бродзинским требовали эклектики и прощения, не осуждая никого.

Не вечерах на кофе показывались тогдашние знаменитости, младшие, по крайней мере. Не был беспримерным Лелевел<sup>10</sup>, на которого не только глаза и сердца учёных и реформаторов, но и горячей молодёжи, расположенной к действию, обращались. Приходили сюда и украинцы, молодой, энергичный отряд, и литвины, воспитанники Вильны, как те были детьми Кжеменца. Но с Лелевелом о тогдашней литературе говорить было трудно. Нёс он факел во мраке истории, вооружённый суровой критикой, но в деле романтизма руководствуясь только чутьём, признавал правоту того, в ком чувствовал самую горячую жизнь, энергию и силу. Вечера в этом кругу проходили очень приятно. Не было почти дня, чтобы сюда кто-нибудь из давних гостей не приводил нового пришельца «из-за Буга».

Стояла ещё в те времена та граница на Буге, которая разрывала страну надвое, ненавидимая царём Николаем, желающего от неё избавиться, но равно ненавистная тем, что по общности с братьями вздыхали. Официально Польша была в Варшаве, за Бугом польские сердца были горячей, хоть им такими едва ли разрешено было называться. Братья из-за Буга сердечно приветствовали друг друга, с каким-то беспокойным любопытством. Тут и там были одни мысли и чувства, взаимно притягивающиеся.

Когда Каликст в этот вечер туда вошёл, в кофейне уже было полно дыма, трубки давно в работе, и нашёл кучку своих знакомых, собравшихся около молодого мужчины с бледным

---

<sup>9</sup> Тут: добровольцы, пропагандисты.

<sup>10</sup> Иохим Лелевел (1786–1861) – выдающийся польский историк, библиограф, нумизмат, принимал участие в моральной подготовке революционного движения. Профессор Варшавского и Виленского университетов.

лицом, смелым взглядом, живыми движениями, который вполголоса что-то рассказывал, чего-то доказывал. Когда новый пришелец остановился, чтобы к нему прислушаться, сначала оратор немного задержался, поглядев на него, точно не был уверен, может ли дальше говорить свободно, но, видя, что с ним все здоровались, тут же прерванное доказывание развязал заново.

– Да, верьте мне, – говорил он, – одного приличного издания, стоящего на вершине наших нужд, мы не имеем. Надобно его создать, но нужно согласиться на то, чем оно должно быть.

Высокого роста, красивой фигуры, подкупающего лица брюнет с розовыми устами, заговорил:

– Значит, мы просим программу...

– Говори, пане Михал, – вставил другой. – Стефану будет главным образом важно, чтобы свою библейскую поэзию было где печатать.

Брюнет сильно зарумянился.

– Посоветуемся с профессором Бродзинского, – сказал кто-то сбоку, – это человек и великих знаний, и великой сдержанности, понимающий...

– Всё что хотите, – воскликнул тот, которого называли Михалом, – я его почитатель, но – хотя это и солдат, и вождь – я его сегодня на начального коменданта не возьму. Он слишком мягкий, слишком добрый, слишком снисходительный. Жизнь забрала у него энергию – дух живёт в нём спокойный, а мы не заблуждаемся, идём на войну.

– Тише, – сказал кто-то, – с войной...

– Но ради Бога, в конце концов только против педанства и онемелости, – добавил пан Михал.

Послышалось несколько смешков.

– Молодые силы нам нужны, – говорил далее тот, которого окружали, – этих нам хватит, забранные губернии нам их доставят.

Снова кто-то боязливый шикнул, но рассмеялись над трусом.

В эти минуты как-то один из стоящих бросил взгляд по покою, такой задумчивый, что нелегко было заметить сидящих с краю; за его взором пошёл машинально пан Каликст и в уголке за маленьким столиком заметил Бреннера, который, отвернувшись, пил кофе, вовсе не обращая внимания на кучку беседующих в другом конце.

В эти минуты начали как-то трясти локтями, глазами друг другу давать знаки, и разговор, вполне свободный, не переставая, изменил течение, даже предмет, обращаясь к вещам более повседневным. Очевидно, старались, чтобы это не очень было выразительным. Однако же вся жизнь, какая недавно выливалась, словно парализованная, задержалась и перестала, несколько особ оглянулось за капюшонами, начали вставать, несколько выскользнуло, остальные рассеялись.

Каликст, который сразу узнал своего соседа, так был этим поражен, удивлен, почти задет, что, не в состоянии задержаться, отвлёк в другой покой своего друга, Эдварда.

Эдвард, коллега по одной лавке в Liceum, был немного старше Каликста и независим. Пребывал в Варшаве, будучи известным и охотно принимаемым в первейших домах, – Каликст не знал определённо, чем он занимался. На вид только развлекался. Именно взгляд Эдварда вызвал этот переполюх и панику.

Вышли в другой покой, в котором никого не было. Каликст приблизился к его уху.

– Мой дорогой, почему же ты так смешался и прервал разговор в минуту, когда действительно он был занимательный?

– Как же! Ты не видел? – отпарировал Эдвард.

– Кого? Что?

– А этого господина у столика сбоку!

– Кто же это?



– Это известный шпион Любовидзкого и доносчик великого князя... Говорят, что имеет свободный доступ в Бельведер. Зовут Бреннер.

Каликст побледнел.

– Может ли это быть? – воскликнул он невольно, ломая руки.

– Не может – но есть, точнее не бывает, – кончил Эдвард. – Человек безмерно ловкий, хитрый и самый опасный на свете.

Затем Эдвард поглядел на насупленного и смешанного приятеля и схватил его за руку.

– Что с тобой? Почему это так тебя взволновало? Всё-таки бояться нечего. Хоть бы сам Юргашко нас слушал с Маркотом, не нашёл бы ничего грешного в разговоре. Всегда, однако, подобает быть осторожным; поэтому мы предпочли прервать разговор, который куда-то перенесётся.

Каликст по-прежнему стоял, как окаменелый. Эдвард его толкнул.

– Ну же, скажи мне, что случилось?

– Только то, что я живу в одном доме с этим Бреннером... я наверху, он на первом этаже. Я никогда не догадывался о его несчастной профессии.

Он пожал плечами.

– Я надеялся, – шепнул Эдвард, – что ты был осторожен, потому что теперь будешь с ним осторожен, в этом не сомневаюсь. Не имеешь что на совести?

– Мне кажется, что ничего, – отпарировал Каликст, – но, прошу тебя, это верно?

Эдвард громко начал смеяться.

– Но, прошу тебя, весь свет об том знает, знают его не меньше, чем Бирнбаума и других, хоть самое последнее занимает на вид положение. Он давно в этой службе и имеет большие заслуги... Достаточно поведать, что даже шпионы его бояться, и что где надо что-нибудь чрезвычайное совершить, шлют его.

Каликст не отвечал уже ничего, на лице его выступил пот, чувство непередаваемой боли сжало ему сердце. Он попрощался с приятелем и вышел. В первом покое Бреннера уже не было. Не очень зная, куда идёт, что с собой делать, Каликст оказался на улице, свежий воздух немного его оживил. Удручённый, он машинально пошёл к Саксонскому Саду.

Он был влюблён... Несколько раз встретившись с Юлией, он отпустил уже поводья сердцу и загорелся той юношеской безмерной любовью, которая в счастье становится безумием, в недоле – отчаянием. Юлия – дочка этого человека! Этот цветок, такой чистый, такой благоуханный, расцветший на этом отвратительном стебле! Могло ли это быть? Могла ли природа допустить такой чудовищной игры?

Пришло ему на ум, что серьёзность Юлии, простота, доброта, очарование, спокойствие, всё это могло быть деланным, наигранным, фальшивым.

Он весь задрожал. Этого невозможно было допустить! Такое прикидывание стало бы преступлением. Как безумный, он пошёл не видя, постоянно давая себя толкать.

Был вечер, он не хотел возвращаться домой, пока бы не остыл от этого страшного впечатления. Шёл он так с опущенной головой, когда: «Добрый вечер, пане!», сказанное тихим голосом пробудило его, а скорее, устало, так что он отскочил на шаг.

Рядом как раз прошла Юлия, смеясь и приветствуя рукой. За ней шла, как обычно, Агатка, неся ноты, потому что возвращались с какой-то репетиции дуэта на два фортепиано.

Каликст вежливо раскланялся, на лице его было видно такое смешение и страдание, такая внутренняя боль, что Юлия, заметив это, беспокойно к нему приблизилась.

– Что с вами? Вы больны?

– Да, действительно, мне немного... нехорошо, – слабым голосом сказал Каликст. – В самом деле, я испытал такое неприятное впечатление...

Юлия вздохнула.

– Не смею спрашивать, не смогу вас утешить, – ответила она и тихо добавила:

– Не идёте домой?

– Сам взаправду не знаю, – сказал, колеблясь, Каликст; но затем посмотрел на Юлию: чистый её взгляд встретился с его глазами, и он решил её сопровождать.

– Вы правы, боль лучше на свет не выводить – и с ней скрыться дома, но позвольте мне сопровождать вас?

Юлия дала немой знак позволения. Какое-то время, не говоря друг с другом, шли дальше.

– Мне в самом деле стыдно, – прервал в итоге молчание Каликст, – что я так не по-мужски впечатлителен. Не правда ли, что я вам должен был показаться по-детски слабым? Мужчине трудно сделать более тяжёлый упрёк, чем в слабости и нехватки энергии. Наш долг – иметь силу. Но я должен хоть немного вам объяснить. Известие о тяготеющем пятне на семье, которая мне дорога... для которой...

Он ещё не закончил, когда глаза Юлии с выражением неизмеримого беспокойства и страха обратились на него. Хотя, очевидно, боролась с собой и хотела прикинуться равнодушной, Каликст видел, что была взволнована, словно о чём-то догадалась. Но продолжалось это только мимолётную минуту, Юлия скоро восстановила полностью хладнокровие и равнодушно отозвалась:

– Пятно тяготит на семье? – спросила она. – Прошу вас, разве вся семья так друг за друга в ответе и разве все виноваты?

– Я плохо выразился, – отозвался Каликст, – пятно лежит на одном члене семьи.

– Или в вашем убеждении оно падает на семью? – спокойно говорила Юлия.

– Справедливость Божья и людская не делает нас ответственными за чужие вины, но общий суд, но... но...

Покачал головой и замолк.

– Лучше не будем о том говорить, – прибавил он спустя мгновение.

Они шли вместе друг с другом. Каликст смотрел на эту чистую, красивую фигуру и ему хотелось над ней плакать. Чувствовал, что должен был удалиться, отречься, но уже не имел силы.

– Мне очень вас жаль, – через мгновение начала Юлия, – а одинаково жаль мне ту семью, несчастную, невинную и наказанную, страдающую и осуждённую. Что за судьба...

Она вздохнула.

– Есть ужасные трагедии на свете, – шепнул Каликст.

Они посмотрели друг на друга. Шли в этот раз как-то так медленно, что далеко было ещё до каменички – но разговор не клеился. Юлия не смела спрашивать. Каликст не знал, чем её развлечь.

Они больше разговаривали глазами, чем устами. Уже вдалеке виднелась каменичка, когда он с ней попрощался, как обычно, сам запаздывая домой. Смотрел за ней долго и мучился. Нет, она, по крайней мере, виновной быть не может... она ничем не запятнана... На ней не тяготит никакого пятна. Бедная – несчастная!

С заломанными руками пошёл он назад, не имел охоты возвращаться домой. Этот дом стал ему страшен.

Панна Юлия, взволнованная, также возвращалась, точно её самое что-то коснулось.

И однако она вовсе не знала о том, какую несчастную славу имел её отец. Проницательная, она, может, о чём-то догадывалась, предчувствовала что-то подобное; кольнуло её то, что поведал Каликст, хотя сама не знала, почему так сильно была задета.

Бывают предчувствия... Измученная, уставшая, вошла она в дом и тётка, которая её нежно обняла на пороге, заметила сразу в ней какую-то перемену.

– Что с тобой? – спросила она заботливо.

– Ничего со мной, вот, так, взаправду, сама не знаю, почему сделалось мне грустно, странно.

– Но может ли это быть без причины?

– Я собственно не знаю ни одной, верьте мне, тётя.

Так они разошлись, но пани Малюская следила за племянницей издалека и всё сильнее убеждалась, что что-то тяготило её сердце. Юлия ходила по покоям, брала и бросала ноты, задумывалась, вставала, садилась – словом, была явно не в себе.

Бреннер возвращался чрезвычайно поздно, случилось, однако, что являлся вечером на чай. В этот день все обрадовались, услышав в прихожей голос, дочка выбежала его приветствовать. Он возвращался хмурый и молчаливый, обнял дочку, пошёл сразу к своему бюро, объявляя, что имеет много дел, и закрылся в покое, приказав подать лампу. Тем временем приготавливали чай. Когда тот был готов, попросили советника, который, не спрятав бумаг, вышел. Он был обеспокоенный, задумчивый, лицо имел нахмуренное и стиснутые уста. Напрасно Юлия старалась его развеселить – и он был, как бы чем-то мучимый и не в себе.

Среди чая пани Малюская вышла, Бреннер посмотрел на дочку и приблизился к ней.

– Мне нужно тебе что-то сказать, – отозвался он.

Юлия повернулась к нему.

– Ты знаешь, как я люблю тебя и что беспокоить тебя было бы для меня очень болезненным, и однако, знаю, что сделаю тебе неприятно – а должен... Пан Каликст тебя провожал сегодня?

Юлия зарумянилась, но глаза подняла смело.

– Да, – сказала она. – Мы встретились на дороге, было бы смешно, если бы его, как испуганная, отпихнула от себя. Что же в этом плохого?

– Это нехорошо, – отозвался Бреннер – я с этим господином никаких отношений не желаю.

– Отец, имеешь что-нибудь против него? – спросила Юлия.

– Имею, но того, что против него имею, поведать тебе не могу. Достаточно, что, повторяю, я решительно против знакомства и отношений с ним.

Юлия замолчала, но видно было, что ей это действительно сделало неприятно, Бреннеру также жаль её было, он нежно схватил её за руку.

– Дитя моё, дитя моё, – отозвался он, – верь мне. У меня есть причины.

– Разве совершил что-нибудь нечестное?! Или чем-нибудь запятнал себя? Прошу, отец, скажи мне! – произнесла дочка.

– Но что же он тебя так интересуется? – прервал Бреннер.

Панна Юлия мгновение помолчала, задумалась, а потом медленно отвечала:

– Мне было бы больно узнать о нём что-нибудь плохое. Знаешь, отец, почему? Не о нём, может, речь, но о том, что если бы такое бесчестие могло покрываться и заслоняться благородством, как в нём, пришлось бы мне сомневаться в людях.

Бреннер, так спрошенный, мгновение боролся с собой, прежде чем собрался отвечать.

– Не скажу, чтобы на нём тяготело что-то нечестное, но, дитя моё, есть много честных людей, с которыми всё-таки отношения неприятны и – опасны. Вот и тут так – пусть тебе этого будет достаточно. Я с моей стороны прошу, а если нужно, приказываю его избегать, не давать ему приблизиться. Ты не должна его знать. Если встретитесь снова, прошу вежливо отделаться от него и не давать провожать тебя.

Юлия совсем замолчала, бросилась в глубь кресла, явно грустная. Бреннер беспокойно смотрел на неё, но уже не вернулся к этому предмету. Сидели молча, когда колокольчик, резко дёрнутый у первых дверей, испугал панну Юлию так, что она крикнула.

Вскоре потом услышали оживлённый разговор и спор с кухаркой – какой-то незнакомый мужчина вошёл без церемонии в салон. Высокого роста, неприятного лица, он даже не задал себе работы снять военный плащ, как казалось, в прихожей, а шапку не спеша снял, только увидев женщину.

Панна Юлия, увидев его, тут же быстрым шагом вышла, Бреннер вскочил с канапе и, беспокойный, выбежал навстречу прибывшему. Оба одновременно, шепча что-то, вошли тут же в кабинет, слышен был оживлённый разговор, горячий, и не прошло четверти часа, когда незнакомец вместе с хозяином, который приготовился к выходу, быстро вышел из дома.

На пороге он едва имел время шепнуть кухарке:

– Погаси сама лампу в кабинете и запри.

На столике остался недопитый чай. Бреннера уже не было. Панна Юлия, хотя чрезвычайно спешно удалилась, почти не взглянув на прибывшего, испытала очень неприятное впечатление, заметив, с каким любопытством он уставил на неё глаза. Был это взгляд старого распутника, циничный, почти устрашающий. Одного блеска этих глаз хватило за оскорбление. Смелость, с какой вошёл он в салон, осанка, взгляд, всё в нём указывало какую-то особу высокого положения и имеющую власть над Бреннером. Было это почти беспримерным, чтобы кто-то подобный заглянул в каменичку на улице Святого Креста; поэтому можно себе представить, какое впечатление это произвело внизу, где стояла Ноинская и вся чернь. Мастера провела глазами высокого мужчину и клялась потом, что, должно быть, был «генералом».

Кто же знает? Могла не ошибиться. Неподалёку на площади стояла карета и точно генеральские кони.

\* \* \*

Когда за Бреннером закрылись двери, а кухарка побежала дать знать панне Юлии о плачах отца, Юлия тут же пошла в покой, в котором горела на бюро оставленная лампа.

Бреннер не имел времени ни спрятать бумаги (о чём, верно, забыл в второгопах), ни привести их в порядок. Издалека смотрела панна Юлия на разбросанные записки, точно вынутые из бумажника, и лист бумаги, половина которого была исписана. Сначала она не хотела даже взглянуть на них, но, беря лампу, глаза её почти невольно упали на заголовок уже исписанного листа бумаги, и остановилась как вкопанная.

Её лицо покрылось смертельной бледностью, глаза стали круглыми, дыхание в груди задержалось, взгляд не мог оторваться от бумаги. На ней был начатый рапорт тайного полицейского агента генералу Жандру... С неописуемым страхом Юлия, нехорошо даже понимая, что это было, обо всём догадалась, читая имена лиц, присутствующих на сходке в Литературном кафе. Среди иных стояло там имя пана Каликста Руцкого.

Юлия читала, стояла долго, начала вся дрожать, выпустила из рук лампу и упала, бессознательная, на пол.

Счастьем, звук падающей лампы услышала Агатка, убирающая со стола, и вбежала, а, увидев девушку словно не живую, на полу, разбитую и льющуюся на пол лампу, своим криком всполошила весь дом.

Вбежали Малуская и кухарка. Они не могли понять, что случилось. Плача, схватили бессознательную, которая постепенно пришла в себя, и отнесли её на кровать. Погасили лампу, очистили и заперли покой советника.

Но состояние Юлии, которая плакала и показывала практически какое-то безумие, так встревожило тётку, что послали к ближайшему доктору на Новый Свет. Был им знакомый пани Малуской, молодой ещё человек, который даже показывал большую заинтересованность панной Юлией.

Прежде чем пришёл доктор Божецкий, женщине помогали, успокаивали как умели, но о самом случае панна Юлия ничего сказать не могла. Она плакала и была как бы в отчаянии, чего тётка себе никаким образом объяснить не могла. После ожидания, которое показалось долгим, поспешно пришёл Божецкий. Тётка выбежала к нему в прихожую и в немногих словах



рассказала ему непонятный случай. Молча молодой доктор вошёл в покой. Прибрав весёлое на вид лицо, он приблизился к больной, но та, казалось, его не узнаёт.

На первые вопросы она ничего не отвечала и только после долгих склоняющих просьб Божецкого она заикнулась, что сама не знает, что с ней стало – ослабла, потеряла сознание, упала.

Доктор, естественно, долго расспрашивал о симптомах, предшествующих этому кризису, оценивал, смотрел, думал, и, не в состоянии открыть ничего, кроме того, что это был какой-то женский нервный припадок, наказал отдых, средства, смягчающие сон, и т. п. В случае же, если бы тревожные симптомы вернулись, просил, чтобы ему дали знать.

Во время всего совещания почти не говоря ничего, с испуганными глазами, сидела бедная Юлия – слова от неё добиться было трудно. Малейший шелест только пугал её так, что самую строгую тишину должны были приказать в доме.

В одну минуту вся каменица уже знала о случившемся. Кухарка и Агатка должны были о нём рассказать, всё население собралось около них слушать. Обе рассказывали, каждая иначе.

В каменице это произвело ужасающее впечатление.

Версии кухарки и Агатки, хотя согласные друг с другом, в главных фактах очень различались в подробностях.

Агатка, которая вошла первой, утверждала, что панна держала в руке бумаги и что-то должна была прочитать. Кухарка доказывала, что отец панны Юлии делал выговоры (очевидно, слушала за дверью) за то, что общается с панычем сверху, который её провожал. О том рассказывала и Агатка. Мастерова Ноинская и более важные особы догадались, что, пожалуй, дело было в том, что отец был против него, а девушка его любила. Предположения мастеровой, которая имела буйное воображение, шли даже так далеко, что кухарка возмутилась.

– Э! Что вы думаете, пани мстеров. Эта панна не такая, чтобы, с позволения, могла в романы вдаваться на лестнице. Её нужно знать!

Диспуты были долгие и оживлённые, а когда спускался задумчивый доктор, они за ним внимательно следили глазами, словно хотели что-то прочитать по его лицу. Кухарка заговорила:

– Прошу пана лекаря, что же наша панна... ведь мы её так любим.

– Можете быть спокойны, ничего. Что с ней может быть? Ослабла, упала, стукнулась головой, полежит какой-нибудь день и будет здорова как рыба.

Ноинская услышала это, но приняла с недоверием.

– Дай Бог, чтобы он так сам здоров был! – шепнула она.

Тётка ни на шаг не отходила от кровати, давали воду с каплями померанцевого цветка, laugocerasus, разные вещи, натирали, обкладывали. Однако состояние больной вовсе не изменилось. Одна минута на её молодом и свежем лице произвела такую страшную перемену, молниеносную, глаза так странно смотрели, безумно, что тётка ломала от отчаяния руки, а тут Бреннера, который так неожиданно был похищен из дома, неизвестно даже когда было ожидать.

Пришла ночь и в каменице внизу болтали кумушки, на верху уже только у пана Каликста и на первом этаже в покое панны Юлии горел свет. Тут никто, кроме Агатки, которая, сидя, уснула, не думал ложиться спать. Ждали, когда вернётся Бреннер. Панна Юлия получила горячку. Сколько бы раз, утомлённая постоянным плачем, она не закрывала веки, вскакивала с криком, ломала руки и повторяла постоянно: «А! Я несчастная!» Малуской уже приходили самые разнообразные мысли, хотела что-то выпытать у племянницы, вызвать признание, Юлия качала головой, не отвечала ничего, кроме того, что была очень несчастной.

Медленно проходили часы. Полночь, два часа, три, четвёртый, наконец, и день собирался, а Бреннер не возвращался.

Около пяти часов застучала дрожка и остановилась у ворот. Малуская выбежала к началу лестницы. Увидев её, Бреннер испугался.

– Несчастье, мой советник! Несчастье! А мы тут в доме одни бабы... не знаем, что делать. Юлка вдруг ослабла... после вашего ухода она вошла к вам в кабинет за лампой... и не знаю, что случилось. Мы нашли её в обмороке лежащей на полу.

Бреннер, который единственного ребёнка любил больше жизни, не отвечая ни слова, бросился наверх, прямо к кровати больной. Тут вид его вместо того чтобы принести успокоение, вызвал резкий кризис. Увидев его, Юлия закрыла глаза и снова потеряла сознание.

Бреннер стоял над ней как труп. Он также, казалось, утратил сознание. Малуская дёргала его за руку, он не понимал, что она ему говорила. Он побежал в кабинет, а день уже позволял там всё рассмотреть, – хлопнул за собой дверь. Кухарка слышала, как с порывистостью он закрывал бюро и бегал по комнате. Вскоре потом вернулся к дочке. Послали за Божецким. Состояние Юлии ухудшилось.

Бегание по дому, движение, беспокойство, крик не могли уйти от внимания живущего наверху. Утром за бельём на чердак бегала кухарка, когда Каликст отворил дверь, спрашивая, не случилось ли у них чего.

– А! Вы ничего не знаете? – начала живо женщина. – Это история... трагедия, прошу вас... судный день. Наша панна, как упала в обморок, так до сих пор не можем её в сознание привести. Что не делали, доктор был... А плачет и мечется, аж смотреть жалко. Все стоят как убитые. Пан плачет, тётка, мы все. Или судороги, или какая болезнь вдруг, но плачет и кричит постоянно, и то без повода, потому что ничего не стало... отца не было. Так схватило что-то...

Каликст не смел уже спрашивать больше, только об имени доктора.

– А это наш ординарий, – отвечала кухарка, – с Нового Света, Божецкий, что ходит за Детьми Иисуса.

Каликст знал Божецкого, и, поблагодарив кухарку, закрыл дверь, сразу желая одеться, чтобы пойти спросить его о Юлии.

Доктор, тем временем вызванный, пришёл, но, кроме тех же симптомов, что предшествовали, только усиленных, ничего нового не нашёл. Наказал те же средства, а прежде всего – отдых. Советник, беспокойный, ввёл его в кабинет.

– Будьте милостивы, пан, поведать мне открыто; сначала – не грозит ли опасность, потом – что могло быть причиной?

Божецкий пожал плечами.

– Опасности до сих пор не вижу, но так какой-то сильный кризис, нехороший для будущего. Что до причин, я бы от вас хотел узнать. Я всё сильнее убеждаюсь, что этот кризис, атаку, вызвало моральное впечатление, какое-то чувство, случай – это не болезнь от крови, лимфы, от ненормальных функций организма, но удар из внешности, удар по нервам.

Он поглядел на Бреннера, лицо которого побелело и пожелтело, приняло почти трупный цвет. Старый советник дрожал.

– Ничего не знаю, – выпалил он сухо.

Упросив о новом посещении через несколько часов, Бреннер проводил доктора в сени. Тут, у лестницы наверх, его ждал Каликст.

– Тс!

Божецкий поднял голову.

– На минутку прошу вас ко мне, будьте милостивы.

Доктор, узнав старого приятеля молодости (не знал, что тут жил), приятно удивлённый, пошёл охотно к нему.

– Давно тут живёшь? – спросил он.

– Больше года.

– Тебе, наверное, интересно, что делается на первом этаже и что я тут делаю. А, может, тебя красивая панна интересуется? И я, признаюсь, равнодушно на неё смотреть не могу.

Смеюсь с равнодушием медика, Божецкий бросился на канапе, выгнутое и узкое.

– Очень ладная панна! Красивая, милая и – неглупая! – добавил доктор. – Но папа!

– Что же случилось? – спросил Каликст.

– Разве я знаю, упала в обморок в кабинете отца, стукнулась головой, но удар слабый, симптомов сотрясения мозга нет. Что-то в этом всё есть таинственное, какое-то впечатление, беспокойство, отчаяние, не знаю. Плачет и кажется безумной. Ничего не понимаю. Кто знает... Истерия, может, но на это не выглядит. Здоровая, свежая, и такая умная и холодная!

Ты знаешь отца? Что это за человек? – добавил Божецкий. – Какой-то советник... что же и кому советует? В комиссариате...

У Каликста на устах уже было слово, но задержал его.

– Не знаю о нём ничего, не знаю его, – ответил он, подумав, – совесть велит мне сказать тебе, что – правда или нет – люди его избегают.

Божецкий скривился и закусил губы.

– Я о том только вчера узнал, – кончил Каликст, – потому что дома считается купцом, спекулянтом.

– Одно не мешает другому, – отозвался Божецкий. – Дай мне трубку, если есть, и пойду, потому что у меня имеются и другие больные.

– Состояние панны опасное? – спросил Каликст.

– Разве я знаю, – вздохнул доктор. – С нервами, как с безумцами, никогда нельзя знать, что нас встретит, может быть, нет, и, может статься, что самое ужасное. Мы ещё до этого не дошли, чтобы их дороги наперёд обозначить. Согласно всякому вероятию, если причина уступит, молодость победит, здоровье вернётся. Но молодость также имеет в себе то, что сильнее принимает впечатления. Ведь ты всё же не влюбился в панну? – смеясь, спросил Божецкий.

– Нет, – ответил Каликст, – хотя признаюсь тебе, что она – опасна.

Божецкий встал, зевая.

С костёла Св. Креста долетали голоса колоколов, город двигался, экипажи гремели, улицы заново начинали жить. По Новому Свету, уже куда-то откомандированная, шла в молчании конница, с другой стороны маршировала пехота, где-то вдалеке отзывался бубен.

Бреннер сидел у кровати дочери, Малуская пошла молиться, слуги были внизу.

Вдруг Юлия задвигалась, поднялась, огляделась вокруг и, видя перед собой отца, уставила в него глаза. Но не было это то прежнее её выражение, с каким смотрела на родителя. Казалось, поглядывает на него с тревогой, с недоумением, с упрёком. Бреннер, невольно смешанный, опустил глаза. Взгляд этот болезненно его прошёл. Он наклонился к дочке, которая немного отодвинулась от него. Ещё раз обвела взглядом покой и тихо отозвалась дрожащим голосом:

– Отец мой, несчастный... я знаю – я всё знаю...

Тут она замолкла, потому что плачь прервал её речь и приглушил голос.

– Ребёнку не годится ни осуждать родителя, ни делать ему упрёков, но, отец мой, отец, почему ты меня так воспитал, что должна содрогаться от того, что ты делаешь? А! Нужно было дать меня туда, где бы у меня всякое чувство отняли... и стыд и...

Она не закончила, её голова упала на колени, закрыла глаза руками и горько плакала.

Лицо Бреннера во время, когда её слушал, так менялось, пожалуй, как человека, которого ведут на казнь, который хочет показать мужество, а падает от тревоги и боли, поднимается и собой не владеет, мечется, бессильный, и только пробуждает сострадание. Попеременно бледный, синий, жёлтый красный, весь дрожал, пот выступил на его лбу. Несколько раз наклонился к дочке и отступал. Ему не хватало голоса, в запёкшихся устах пересохло.

– Юлия, – сказал он, – Юлия, успокойся, прошу тебя. Не годится меня судить, ты сама сказала, не суди меня, не убивай... имей жалость к себе и ко мне.

Он не мог говорить больше.

Юлия подняла заплаканное лицо, но как бы силой воли успокоенное.

– Отец мой, – произнесла она, – я тут остаться не могу... тут каждый кусок хлеба меня задавил бы – я должна уйти отсюда... В монастырь, на службу, в свет, не знаю – хотя бы на погибель, но я тут остаться не могу...

Бреннер заломил руки.

– Дитя моё, – крикнул он, – ты, пожалуй, хочешь убить меня... Я для тебя работал, я для тебя продался... я себе в голову выстрелю... не переживу этого...

Говоря это, он положил голову на её кровать и сам начал плакать.

Услышав его рыдания, Юлия схватила за голову и начала целовать, точно уже простила его. Оба молчали. Бреннер поднялся с дикой энергией.

– Слушай, – сказал он, – даю тебе слово, как люблю тебя, на всё, что у человека свято, если я какое зло учинил, стократно его исправлю и отслужу. Погибну – но очищу себя. Не покидай меня, не губи, не убивай.

Тихим шёпотом, приблизившись к Юлии, Бреннер закончил с ней разговор. Дочка успокоилась, плакала ещё, но лежала на подушках, не показывая признаков волнения. Бреннер повторял над ней: «Погибну, но очищу себя».

Что-то припомнив в эти минуты, он побежал в кабинет, принёс бумаги, начал показывать их Юлии, шептать снова. Казалось, словно хотел доказать, что исполнял свои обязанности таким образом, что скорее помогал, чем вредил.

Поверила ли ему панна Юлия, действительно ли убедилась, что не так был виновен, как думала, – верно то, что снова тихим долгим шёпотом закончили разговор и Бреннер, попрощавшись с ней, один спешно вышел из дома.

Юлия только теперь, после выяснения, уснула, а тётя Малуская, войдя на цыпочках, нашла её уже объятую глубоким сном.

Во всём доме наказали молчание. Бреннер тем временем бежал боковыми улочками с бумагами за сюртуком во дворец Крассовских, в котором жил генерал Левицкий<sup>11</sup>. Несмотря на успокоение дочери и пережитую с ней тяжёлую минуту, старик едва мог идти, так ещё чувствовал себя взволнованным, ослабленным. Не мог, видно, избавиться от опасности. С тыльной стороны, качаясь как пьяный, он попал в личную канцелярию генерала.

Там в эти минуты никого не было, кроме того славного пьяницы Харламповича, который обычно переписывал рапорты великому князю. Поскольку уже несколько дней Харлампович был постоянно пьяным так, что переписывать не мог, в этот день был привязан за обе ноги толстой верёвкой к столу. Верёвка же была так искусно завязана на какие-то узлы, что, если бы он её развязал, не сумел бы потом скрутить подобным образом.

Харлампович, бледный, перепитый, смердящий водкой, с икотой сидел над бумагой и со злостью, но с опытом скорее отличного рисовальщика, чем каллиграфа, с лежащего перед ним черновика копировал рапорт.

Он поднял голову, увидев Бреннера, и, ничего не говоря, показал ему только язык, опустил глаза – писал дальше.

Рядом был покой генерала, который как раз собирался в Бельведер. Даже для командиров и фаворитов великого князя поездка в Бельведер была делом великого значения. Даже генералу не прощал великий князь незастёгнутой пуговицы, пришитой на отворот, малейшей нерегулярности в костюме, самой незначительной эмансипации против формы. Каждый, едучи

---

<sup>11</sup> Шеф тайной полиции.

в Бельведер, хотя бы был Левицким, Жандром, Крутой, Аксамитовским и даже Блюмером, должен был хорошо обеспечить себя сам, прежде чем отваживался вставать в приёмной князя.

Когда Бреннер постучал, генерал закончил одеваться; на канapé сидел как раз Блюмер, долженствующий его сопровождать, тот самый послушный из прислужников, которого из-за его эффективности и точности звали «Кухенрейтаром великого князя». Как пистолеты Кухенрейтара, славящиеся меткостью, так Блюмер был известен безжалостным исполнением приказов.

– А, это ты! – сказал по-русски Левицкий. – Ну что?

Бреннер начал заикаться. Стоял у порога.

– Ясно вельможный генерал, – начал он дрожащим голосом, – у меня в доме несчастье, моя дочка смертельно заболела, прошу хоть на день увольнение.

– Что? Что? – крикнул Левицкий. – Что ты, сбесился что ли? Это не может быть! Лжёшь. Я вчера видел твою дочку, красавицу, здоровую, что с ней может быть?

– Получила ночью судороги, – воскликнул Бреннер.

Разгневанный Левицкий пожал плечами.

– Тогда пошли ей доктора, – воскликнул он, – девка здорова, красива... ей бы молодого кирасира откомандировать, сразу бы выздоровела.

Слыша эти циничные шутки, над которыми Блюмер начал смеяться, лицо Бреннера пожелтело.

– Ей-богу! – добавил Левицкий. – Вчера я первый раз её видел, но девушка – чудо! Откуда же ей болеть?

Бреннер молчал, Блюмер с любопытством к нему присматривался.

– Что мне там болезнь, – добросил Левицкий, – служба идёт прежде всего. Тебя никто не заменит. Я тебе буду искать других? Где? Когда? Времени нет, а для таких вещей нужна ловкость, как твоя, понимаешь? А затем – пошёл прочь и за работу.

Бреннер хотел что-то сказать.

– Э! Какая bestия упёртая! – крикнул Левицкий, топая ногой. – Пошёл вон, говорю, а нет... то...

И указал на дверь.

В те минуты, когда Бреннер уже выходил, в другую дверь постучали, и Левицкий, изменив голос, отличным акцентом, со сладостью и салонным обаянием сказал входившему:

– *Charme de vous voir; Monsieur le Comte, a quoi suis – je redevable de Vhonneur de votre presence?*<sup>12</sup>

Эта внезапная перемена тона из грубиянского на сладкий всегда относилась к характеристике высоко поставленных особ, которые были вынуждены десять раз в день жестоко ругать и принимать салонные формы и культуру.

Прибывшим был, по-видимому, генерал граф Стась Потоцкий, позже несчастная и невинная жертва первой минуты горячки.

Бреннер вышел бледный и смешанный, стоял ещё у порога с опущенной головой, а Харлампович имел возможность повторно ему язык показать. Не видел его вовсе Бреннер, волею медленно назад из канцелярии и выходя из дворца.

Отойдя от него на несколько шагов, он повторно остановился, точно задумался. Не было способа освободиться от обязанностей. Беспокойство звало его к постели больной дочери, неволя тянула туда, где должен был служить самым постыдным образом тем, кто оплачивал его осквернение. Суровость и грубость генерала Левицкого, которые, может, раньше и где-нибудь в другом месте были бы после него, не коснувшись его, стекали, падая на больную душу, добыли из неё гнев и желание мести.

---

<sup>12</sup> Как же мне приятно вас видеть, господин граф, чему обязан честью вас видеть? (фр.)

Покраснело его лицо.

Он почувствовал почти ярость к тем, что его так унизили, им пренебрегли и не таились даже с презрением. Он со всей силой сжал в руке трость, которую держал, и быстрым шагом пошёл, поглядев на часы, к Бернардинцам.

Огляделся, однако, сначала вокруг, и с ловкостью издавна опытного в ужимках, начал прижиматься, кружа, скрываясь при стенах, пока, как ему казалось, незамеченный, не дошёл до монастыря. Снова посмотрел на часы, а, так как келья, к которой он намеревался идти, была ему точно известна, не спрашивая, прямо пошёл к ней и постучал в дверь.

Когда после ответа изнутри Бреннер вошёл, застал огромного сонного отца, который, сбросив капюшон, как раз после умывания лица вытирался полотенцем, стоя в центре комнаты. Увидев Бреннера, он словно глазам не верил.

– Ей-богу! Или Бреннер, или призрак! А ты тут что делаешь?!

Прибывший стоял грустно, не глядя в глаза.

– Брат, а скорее отец, – отозвался он, – потому что, хоть двоюродный для меня, но облачение тебя отцом называть велит. Я тут много лет живу.

– Тут? А только сейчас соблаговолил узнать о бедном бернардинце? Гм? Что же? Или не знал, что я здесь?

– Я знал, – отпарировал Бреннер, – но дай мне сесть, потому что падаю.

Отец Порфирий указал на стульчик. Присматривался к Бреннеру с таким любопытством, беспокойно, хмуро, что о прошлых дружеских отношениях между двоюродными братьями догадаться было трудно.

– Ну, раз уж ко мне пришёл, говори, – отозвался тучный хозяин, заканчивая вытираться и приводя в порядок место на своём твёрдом ложе. – Что тебя сюда привело?

– Беда! – произнёс Бреннер.

– Аха! Аха! – рассмеялся ксендз. – Пришла коза до воза! Прошу! Беда! Но это, помоги мне Господи Боже, что-то особенное, чтобы такой человек, как ты... с бедой встретился. Ну я – это совсем иное, но ты, пане Пётр, должен был всегда ходить такими дорогами, что скорей мог наткнуться на то, что у вас называется счастьем, чем на беду. Это уже что-то особенное, говори.

– Почти с исповедью к вам пришёл, – говорил Бреннер грустно.

– Слушай, если с исповедью, то пойдём в конфессионалий, я тебя тут так, оборви, полей, исповедовать не буду. А ежели тебе, дорогой, кажется, что по старому знакомству и крови тебе так легко отпущу грехи, – то жестоко ошибаешься.

– Мой дорогой отец, – отозвался Бреннер нетерпеливо, – на исповедь будет время, хочу твоего совета.

– Моего совета? – бесцеремонно прервал отец Порфирий. – Мне кажется, что и эта пуля попала в забор, а что я могу тебе иного посоветовать, кроме того, чтобы ты был честным человеком и добрым христианином? А сумеешь ли ты...

– Ну, не шути, – воскликнул Бреннер, – сейчас не время. Слушай, я не отрицаю, что был шельмой и есть даже, но у меня один ребёнок, которого люблю, моя подлость ребёнка убивает. Хочу стать честным...

В речи этого человека было что-то такое убеждающее, такое вдохновлённое правдой, что бернардинец, который слушал поначалу с насмешливой миной, стал более серьёзным и замолк. Молчание продолжалось минуту – Бреннер ждал, бернардинец раздумывал.

– Что же ты? Женился? Когда? Дочку имеешь или сына? – спросил он.

– Я был женат, жена скоро умерла, у меня дочка, ангел – люблю её больше жизни. Со вчерашнего дня заболела от отчаяния, узнав, кому и как я служу, – пусть лихо их возьмёт... ребёнок мне дороже всего. Брошу, выеду, убегу...

– Разве тебя твои дорогие русские отпустят так легко, – ответил ксендз. – Мой дорогой, грех тянет покаяние за собой; не думай, чтобы со злом так легко было расстаться, как кажется. Смола прилипает к человеку. И Твардовский, о котором есть легенда, что продал душу дьяволу, пожалел потом об этом; ни из когтей греха, ни из дьявольских и *et cetera* нелегко выбраться.

Бреннер схватился за голову.

– О, несчастная моя доля! – воскликнул он. – Если девушку потеряю, сам у себя жизнь отбиру. На что она мне? Для чего? Для неё жил...

Он стоял так, бернардинец слушал.

– Чем поможет плакать, – отозвался он, – или что я могу посоветовать? Я? Монах, сидящий в келье. У тебя в голове закружилось!

– Нет, – сказал Бреннер, – ты – это не может быть, ты должен знаться с патриотами, ты всегда был пылким, невозможно, чтобы ты с молодёжью отношений не имел.

Бернардинец, ходя по келье, начал петь:

*«Привет, утренний рассвет!...»*

И кивал головой. Встал потом перед Бреннером и, открыв табакерку, угостил его табаком.

– Считаешь меня за ужасного просточка, брат, – сказал он, – кормя такими анекдотами о раскаянии, исправлении, о дочке, чтобы мне мух из носа тянуть!<sup>13</sup> Но у меня и в монастыре мух нет, тут ничего не вытянешь. Разве бернардинцы для того предназначены, чтобы в патриотизм играть! Наше дело – помыть голову грешнику, святую мессачку отправить, окрестить, ребёнка катахизису научить, но – и я тебе признаюсь, если войнушка, на коне с распятием перед полком... ей же! – хоть бы на русского!

Тут он ударил по устам.

– О! Простите, само вырвалось! Но, душа моя, тёмными дорогами, где человек только шишек себе набить может, мы не ходим... На это есть иные...

– Не веришь мне! – воскликнул Бреннер.

– Уж думай, как тебе нравится – но тут у нас ничего не достигнешь. Монастыря и совести можешь сделать ревизию – нет ничего запрещённого. Дай мне святой покой.

– Бог с тобой, пане брат, – вставая со стула, сказал Бреннер. – Я хотел тебе только одно сказать, – тут он понизил голос, – сегодня за Прагой в колонии пир для Каминского из Львова... надзор за ним поверили мне – пусть будут спокойны, скажи им, пусть будут спокойны, я заткну уши.

Отец Порфирий долго смотрел, заложил руки назад, от стоп до головы мерил двоюродного брата, фыркнул, пожал плечами и, ничего не говоря, дал ему табак во второй раз.

Смешанный этим приёмом, Бреннер бросился целовать его руку, пожал её, а когда поднял голову, отец Порфирий увидел, что его глаза были полны слёз. В эти минуты физиономия бернардинца изменилась и он сказал тихо:

– Оставь в покое слёзы, потому что не баба... пойдём-ка со мной.

И они вместе вошли в келью.

\* \* \*

Не без причины кружок литераторов и послов, желающих почтить прибывшего в Варшаву Каминского, автора «Краковской свадьбы», коий умел думать и писать, когда другие думать не смели, а писать не умели, – выбрали отдельный домик за Прагой, в колонии Винена. Хозяевам того пира, который должен был сплочить конгрессовиков, литвинов, галициан и

---

<sup>13</sup> Вытянуть информацию.



украинцев, казалось, что здесь будут свободней, чем в городе и публичном помещении, где даже служащих в ресторации было нужно остерегаться, потому что и те шли завербованные в фаланги Юргашки и Макрота. Подобрали верных слуг, в домик не имел и не мог иметь доступ никто из незнакомых, поэтому слов так уж можно было не остерегаться. Впрочем, собрание вовсе политической окраски не имело, было это просто побратание духом и минута невинного разговора, в котором бдительное око ничего бы подозрительного не открыло – а однако... однако сам факт той симпатии к разделённым границами братьям, само признание единства, одна взаимная любовь в глазах великого князя была преступной. Всё в то время было преступным и подозрительным: весёлость, остроумие, летящая смелей мысль, немногим более открытое сердце, тоска, грусть, задумчивость, желание учиться... всё. Всё скрывало в себе, согласно принятой теории, какой-то грозный зародыш для будущего. Весёлость выдавала надежды, а каждая надежда была вещью запрещённой; остроумие могло укунить, мысль могла достать слишком далеко, сердце могло слишком далеко увести, тоска велела догадываться о жалости по прошлому, задумчивость могла обозначать поиск средств для его восстановления, наука делала сильным. Одним словом, не было ни состояния духа, ни умысла, который бы себе не могли объяснить с плохой стороны те, что вечно чего-то боялись, как говорил позднее Жевуский.

Поэтому предпочитали скрыться с глаз подозреваемых, чтобы весёлость и остроумие могли вылиться смелей.

С другой стороны Любвицкий и Юргашко равно о прибытии Каминского, как о намерении принять его в Варшаве, уже имели известие. Помешать этому не было хорошего повода, хотя некоторые особы, позванные на обед, на всё общество бросали тень.

Левицкий, который тоже знал об обеде, откомандировал Бреннера. На этот раз был это для пирующих счастливый выбор, потому что Бреннер ради любви к дочке готов был служить совсем другим интересам.

Несколько дней назад он, быть может, выискивал бы какую-то вину, чего-то подозрительного, теперь думал только о том, как защитить тех людей и начать меняться. Что делалось в душе этого человека – описать трудно.

Там, где в сердце осталась хотя бы маленькая искорка любви, всегда через неё ещё есть и прийти может спасение. Та любовь к ребёнку вела к исправлению. Боялся потерять ту, что его одна держала на свете.

Не в состоянии отказаться от ассистирования обеда, Бреннер подумал, что, быть может, лучше будет, если он там окажется, нежели кто иной, более опасный, вместо него. Способ внедрения был ему заранее подан. Камердинер референдария Хлудовского рекомендовал его в столовую. Бреннер при буфете и серебре должен был подслушивать разговор. Кто бы его видел несколькими часами назад в его обычном облике и смотрел теперь в колонии, не мог бы его, наверное, узнать. К большим и главным качествам каждого такого агента, каким был Бреннер, надлежало умело преобразовываться по несколько раз в день. Дома не мог совершить этой метаморфозы, но в Краковском отеле, где имел комнатку на втором этаже, иногда по два и три раза перевоплощался. Тогдашний хозяин, сам состоящий в той же службе, обеспечивал ему незаметный вход и выход. В этот день Бреннер имел чёрные усы, огромные, приклеивание которых было почти невидимо, держался так, что казался более высоким, лицо было румяным, глаза его смотрели иначе, словом, был это кто-то совсем новый, потому что даже движения и фигура приобрели иной характер. Был младше и ловчее.

Общество, которое собралось в колонии, было очень многочисленным. Среди него и уже известные люди, среди них Лелевел, которого молодёжь считала будущим руководителем революции, – многих из тех, что позже выросли в вождей духа и певцов народа можно было увидеть.

Кто бы будущего поэта «*Духа в степи*» и «*Наисвятейшей семьи*» угадал в молодом, полном жизни, начинающем её только, мечтающем ещё и всей грудью дышащем Украинце, кото-

рый был одной любовью и песней, одним вздохом к идеалам; в черноволосом Стефане, взгляд которого был таким проникновенным, автора *«Вечеров пилигрима»*, а в бледном, сварливом, остроумном, смелом Михале – автора *«Литературы и критики»*. Были они там все и много других, полных надежды. В хорошем настроении и серьёзно начался пир, сначала рассчитывая слова и оглядываясь немного на полуофициальные фигуры и на такие немного долгоязычные, как редактор «Почтового дилижанса», который также сюда втиснулся, – но с жарким и после рюмок все начали забываться! Говорили обо всём, ни одно двузначное словцо проскользнуло, ни один злобный анекдот обежал вокруг.

Особенная вещь! Под натиском того деспотизма, что почти не давал вздохнуть, под небом, на вид таком хмуром, какой-то надеждой, какой-то верой, какой-то почти уверенностью в лучшее завтра всё дышало. Никто бы, может, не умел объяснить, на чём основывал надежды, –плыли по воздуху Дыхание какой-то весны залетало.

Быть может, свежая ещё весть о революции во Франции так разогрела Польшу. Мы знаем из истории тот дивный феномен нашей симпатии к стране, которая столько раз разочаровывала нашу любовь и платила ей холодной насмешкой или презрением, и однако от той привязанности ничто вылечить нас не могло. Даже жестокость Наполеона и попытка в Сан Доминго, даже 1812 год, мы верили в любовь потому, что её сами имели. Было это ослепление...

В 1830 году было оно в сто раз более усиленным, чем когда-либо, революция с трёхцветным знаменем вывешивала также сами принципы, которые были записаны на нашем. С добродушием детей мы верили в братство, в пропаганду идеи и влияние революционной Франции, через холодную и неприготовленную Германию могущую достать аж до нас.

Быть может, что тогдашние наши надежды росли из тех, но те, что помнят ту эпоху, вспоминают, какие были сердца, как отворялись души, какой гигантской верой тянулись мы в будущее. Тот августовский вечер в маленькой усадёвке весь дрожал этими чувствами.

Многочисленное войско Николая, фантастический и хищный деспотизм великого князя казались ничем. Великие принципы, написанные на хоругви человечности, казалось нам, должны были, как те трубы, что разрушили Иерихон, в руину рассыпать твердыню деспотизма. На лицах смеялось молодое будущее.

А! Нужно было заглянуть в те груди и сердца... что там за идеалы царили: идеалы политические, общественные, человеческие, христианские... свободы, равенства, мира, братства. Всё то, что сегодня приводит на уста остывшим, практичным государственным мужам смех, – было нашей верой, убеждением, Евангелием, будущим. Холодный скептик не смел бы даже отозваться с недоверием.

Мы были уверены, что простой, широкой дорогой идём к ясному, великому будущему, которое должно было быть делом наших рук. Препятствия должны были раздавить железные груди. Кто бы тогда мог заглянуть в будущее – трупом бы упал на месте.

Таким заразительным было влияние тех запалов и той неизмеримой веры, что люди, подхваченные ими, обращались как бы чудом. Среди этого шума стоящий на кухне Бреннер ловил слова, а так как был уже в том расположении к покаянию и искал побуждения к нему, в итоге почувствовал себя захваченным, обезумевшим, и сердце его забилося к этим людям, хотя, может, ещё не понимал их хорошо.

Когда Витвицкий начал импровизировать, Бреннера и голос, и выражение, и тепло поэзии, как бы испарением охватило, эффект которого почувствовал на себе. У него на глазах заискрились слёзы. Этот молодой свет обнял его своим очарованием, выдался ему светом, солнцем рядом с той темнотой и мраком, среди которых до сих пор обращался. Простой человек понял разницу двух крайних миров, из которых один был опутан эгоизмом, другой – усилен любовью без меры.

Застолье продолжалось до поздней ночи, хотя некоторые, более достойные, удалились перед его окончанием. Двухшевского звал «Почтовый дилижанс», Хлудовского – «Польский

курьер», Гжимала – «Торговая газета», других – разные обязанности. Наконец и маленькая кучка, которая ещё прохаживалась по саду, пустилась назад в Варшаву, а Бреннер, сдав как можно быстрее серебро, поспешил домой к дочери и – увы – к рапорту, который был обязан подать.

Юлия, немного успокоенная, в этот день встала; Божецкий нашёл её около полуночи в значительно лучшем состоянии, о чём также узнал пан Каликст, поджидая его на лестнице. Доктор, естественно, приписал улучшение своим лекарствам, а болезнь какому-то нервному раздражению, с которым в молодости не трудно. Подозревал панну Юлию в какой-то несчастной любви, хотя объяснить себе не умел, как она могла быть несчастной, когда красивая панна одним взглядом приобрела бы, кого хотела.

Всё более беспокойная к вечеру, дочка ожидала отца. Она знала от него, куда он хотел направиться и что должен был пробовать освободиться. Когда около полудня он не вернулся, она поняла, что власть не приняла отговорки и вынудила его к послушанию. Поэтому она ждала у окна его возвращения, с каждым грохотом выбегала, и Божецкий, который зашёл вечером, нашёл её снова немного в худшем состоянии.

Как лекарь, он приписал это влиянию вечера, всегда усиливающего симптомы болезни, не было в этом ничего угрожающего. Наказал покой.

Будто бы всегда случайно, в третий раз Каликст снова встретил выходящего с первого этажа приятеля – эта *случайность* казалась доктору больше чем подозрительной.

– Слушай-ка, – шепнул он на ухо Руцкому, – это напрасно, ты в эту панну влюблён...

Каликст возмутился.

– Но что же ты думаешь, что я новичок или студент. По твоему голосу, когда ты о ней спрашивал, я мог об этом догадаться.

Божецкий рассмеялся и хотел уходить, а потом, вернувшись к Руцкому, добавил:

– Отец – особенный человек, так привязанный к ребёнку, а целый день до этой поры сегодня его дома нет. Уж если бы, не знаю, какие имел обязанности, освободили бы его от них на требование по такому важному поводу. Не понимаю... Не пойму.

Юлия после ухода доктора, несмотря на все усилия воли, не в состоянии дожидаться отца, спокойствия из себя выработать не сумела – пришли слёзы и лихорадка усилилась.

Только ночью, когда состояние её значительно ухудшилось, прибежал Бреннер. В нескольких словах объяснился перед ней. В доказательство обещал ей показать, что напишет. Юлия, хоть всё ещё плача, успокоилась. Она поняла, что отец должен был быть там, чтобы его места не занял кто-нибудь другой. Этот вид утешения, однако, не удовлетворил дочку, которая хотела вырвать его из когтей, что его держали. Заклинала о том, падала на колени, прося, чтобы старался. Бреннер вздыхал, обещал, но знал лучше, чем она, как трудно, как почти невозможно было уйти, раз продав душу. Те, что прислуживались такими людьми, не могли стерпеть, чтобы с тайнами, которые бы забрали с собой, отошли в сторону.

Бреннер, однако же, самым торжественным образом обещал, что будет к этому стремиться. Сцена, которая произошла несколькими днями ранее в кабинете советника, как мы видим, имела огромное влияние на будущее. Юлия в течении какого-то времени была осуждена на сидение дома. Подружек, которые могли бы её навещать, она имела мало, музыку запретил доктор, как слишком волнующую нервы, – поэтому осуждена была на одни книжки.

Она сидела довольно грустной одним вечером перед чаем, когда неожиданно услышала голос отца перед дверью, вышла навстречу ему, и неслыханно удивилась, видя его входящего в покой с паном Каликстом.

Бреннер, послушный для ребёнка до избытка, не зная, чем её уже развлечь, встретив соседа на лестнице, без большого раздумья пригласил его к себе. Каликст немного колебался, с запалом, однако, принял приглашение, хоть знал, кем был Бреннер.

Юлия уже так сильно его занимала, что обо всём, что его окужало, хотел забыть. Оба зарумянились, увидев друг друга, чего в сумраке никто заметить не мог. Каликст вошёл, доведываясь о здоровье и признаваясь, что спрашивал о ней доктора.

Тётя, ожидающая в салоне, услышав сначала голос, увидев потом это явление, ведомое Бреннером, – о чудо! – чуть не крикнула от радости и удивления. Что случилось – не могла понять. Конец концов, пан Каликст был в салоне, был введён, знакомство с ним в некоторой степени получило официальное признание. Пани Малуская потихоньку благодарила Бога, а так как иначе не умела, проговаривала, как была привыкшей в великих случаях, Здраввицу.

Остались втроем, потому что Бреннер под предлогом неотложного занятия, попросив прощения у гостя, пошёл в свой кабинет, а оттого, что часом позже ему выпало снова дело, для которого должен был выйти из дома, случилось, что Руцкий почти весь вечер провёл в одном только обществе не мешающей тети. Разговор был чрезвычайно оживлённый, прервала его только музыка, которую, хотя доктор запретил, панна Юлия сама себе позволила, потому что была по ней – как говорила – изголодавшейся. Малуская позднее продолжала на столике пасьянс, молодая пара долго ходила, беседуя, свободно. Каликст побежал на верх за книжками, принёс их, и только около десяти расстался с Юлией.

Только воротившись в своё жилище, он мог немного подумать над тем, что произошло, как произошло, что учинил и к чему это могло привести. В первые минуты он так был взволнован, схвачен за сердце, не пан себе, что на любезный призыв Бреннера побежал без малейшего раздумья.

Вся эта сцена, разговор с Юлией – всё, что взаимно друг другу поведали, совершалось под властью и влиянием непонятного горячего чувства.

Теперь, упав на своё канапе, в темноте, опёртый на локоть, Руцкий задумался над тем, что сделал. Он был беспокойный тем больше, чем сильнее чувствовал, что этот вечер произвёл на него решающее влияние. Вначале он был влюблённый и мечтательный, теперь чувствовал себя очарованным, захваченным, прибитым.

Выйти из этого заколдованного круга он не мог, а этот круг опоясывал его, связывал с людьми, с семьёй, с которой сближаться не должен был. Бреннер был московским агентом, Юлия его дочкой.

Он ломал руки. Но сколько бы раз он не вспоминал Юлию, её слова, речь, её взгляд, то, что от неё слышал, суждения её о вещах и людях, не мог допустить ничего иного, чем то, что была неосведомлена, чем жил отец и кому служил.

Как раз этим вечером Юлия, под душевным натиском постоянно имея в уме, что отца могут заподозрить, обвинить, специально разговор с Каликстом направляла на то, что делалось в стране, на притеснения великого князя, на французскую революцию и надежды, какие она пробуждала. Её речь была так грустна, что сначала Каликст онемел, слыша её – но в голосе, в словах было столько убеждения, запала, что ему в конце концов сопротивляться не мог.

Вытянула его на слово, на признание убеждений.

«Дочка шпиона! – повторял он. – И я смел ей это говорить». Сам теперь не мог себе надвинуться – почти жалел, но если бы ему пришлось в другой раз вернуться к тому же положению, чувствовал, что не был бы другим.

Мысли кружились у него по голове так, что, в итоге, боясь какого-то безумия, зажёл свет, умылся холодной водой, открыл окно, чтобы вдохнуть свежий воздух.

– Если это не ангел, а кокетка! Тогда лучше не жить и людей не знать! – воскликнул он. – Ежели женщина может быть так фальшива, тогда – правды нет на свете.

Бился он так с собой – не в состоянии прийти к покою.

В конце концов он знал только, что её страстно любил, и что то, что вчера было едва чувством и тоской, стало безумием.

Всё, что молодые люди намного раньше повторяют за другими, нежели сами испытают – дух братства – непобедимая симпатия – притяжение, что двое людей через огонь и воду рвутся друг к другу и хватаются, Каликст чувствовал правдивым.

Он не был в согласии с разумом, с долгом, с совестью – а любви той сопротивляться не мог. Его охватили отчаяние и ужас.

Этот вечер, так трагично кончающийся наверху, на первом этаже также всех взволновал. Пани Малуская была такой счастливой, какой уже давно себя не чувствовала. Юлия, не смея смотреть в будущее, знала только, что пережила одно из самых счастливых мгновений молодости. Этот человек так её понимал! Всё в нём было, как бы созданным для неё – одно слово, одна мысль, малейшее движение не приводили дисгармоничной ноты в этот их дуэт, который пели две души, настроенные где-то на небесах друг к другу.

С капелькой лихорадки, но счастливая и мечтательная, Юлия легла, чувствуя себя почти здоровой. Только отец, отец стоял в её уме – но его надеялась умолить, обратиться, упросить. Имела весь план готовым. Выехали бы в Австрию или Пруссию, Руцкий и там бы их нашёл. Была уверена, что он её не оставит.

Что ей давало эту уверенность? Она не знала сама. Сердце ей это говорило, которое понимает по-своему.

Внизу каменицы, где тут же всё знали, что произошло наверху, мастеровой Ноинская была уведомлена кухаркой о случае неизмерной важности.

– А! Уже что-то светится! Светится! Ей-Богу, – говорила запыхавшаяся женщина, прибежав к жене сапожника. – Что я скажу дорогой мастеровой! Что я скажу!

Она хлопала себя по лицу, крутя головой во все стороны.

– Что же случилось? Что?

– Только не говорите этого ни Арамовичевой, потому что она долгоязычная, ни Матусовой. Разнесут, разбалтуют, а потом на меня, что это всё выходит через меня.

– Но что бы я могла рассказать? Что мне говорить?

– Вот видите, дорогая мастеровой, всё масло наверх вышло. Наш старик, видно, сопротивлялся этому кавалеру, а наша панна в него влюбилась. Встречались постоянно в Саду. Слышала. Советник что-то пронюхал или подсмотрел и начал шуметь. Панна смертельно заболела. Что там болтать? Лампа... или там слабость. Разве слабости без причины нападают? Панна от той любви разболелась, что её едва доктор спас, а такое лекарство давали, что аптекарь говорил – яды.

– Иисус, Мария! – прервала жена сапожника.

– А что же? Какой теперь конец? Панна настояла на своём! Какой бы не изысканный был пан, отец сам должен был нам сегодня кавалера привести... Если бы вы потом нашу панну видели; скажу это пани мастеровой – лицо её сразу изменилось. И здоровёхонька! Потом начали ходить друг с другом по покою, а она ему играть, а он слушать, а потом шептаться друг с другом, но, уж слепой бы заметил, что это.

– Женятся, – сказала Мастеровой.

– Оно и верно, Малуская ходит, чуть не скачет, глаза её смеются. Панна пела, раздеваясь, а тот, как пошёл к себе наверх... как пьяный, скажу мастеровой.

– Вот, как обычно, молодость! А! Разве человек своей не помнит? Моя благотельница. Бывало, как обо мне мой старался, ей-Богу, когда меня первый раз поцеловал в руку, это мне пошло по всем костям.

Кухарка, несомненно, имеющая тоже этого рода воспоминания, с которыми исповедаться не хотела, вздохнула и утёрла нос. Это последнее действие всегда представлялось обязательным при большом умилении.

Как Агатка ту же историю своим способом, в немного изменённой версии, рассказала потихоничку Матусовой, мы не чувствуем обязанности повторять, хотя девушка имела опре-

делённые и меткие взгляды, и полностью от продиктованных более холодным опытом и знанием света кухарки – отличные...

На следующий день, когда пан Каликст шёл в бюро, с удвоенным любопытством приглядывались к нему по дороге. Агатка встретила его на лестнице и, не спрошенная, поздоровавшись, рассказала, как панинка спала, и что в этот день была более весёлой и здоровой.

Именно Бреннера, когда он рад был освободиться и отойти немного, вынуждали к чрезвычайной деятельности.

Революция в Париже, которая, очевидно, отбилась на умах в Польше, всю эту полицейскую фалангу призвала на ноги. Такие люди, как Шанявский, больше были ею, может, встревожены, чем великий князь. Шанявский прямо предрекал восстание и хотел бежать, будучи уверенным, что целым бы не ушёл. Преследование духа раздражало больше, чем княжеские телесные наказания. Шанявский видел уже в снах баррикады в Варшаве и свою усадьбу заранее жертвовал на демонтаж, разрушение и материал для засек...

Новосильцев видел также черно. Тому даже деспотизм Константина не казался достаточным. Конституция, согласно его мнению, была причиной всего плохого, польское войско – ошибкой и опасным заблуждением. Преждевременно Новосильцев был за полную денационализацию, безусловную, и за разрушение всех тех препятствий, которые, как говорил, император Александр, слишком добродушный, сам себе поставил, связываясь с конституцией.

Опасный дух либерализма веял ему от «Путешествия в Темноград»<sup>14</sup>, которое было трудом министра. Нужно было как можно скорей всё душисть, давить – иных людей поставить во главе. Потоцких и Чарторыйских сдвинуть, а Новосильцевых, Грабовских и им подобных на их место поставить. Прежде всего нужно было ликвидировать конституцию и преобразовать войско... в армии. Но тут пан сенатор встретился с сопротивлением князя Константина. Польское войско было его делом. Он был им горд. Мучил его до смерти в Варшаве, но гордился в Петербурге. Пока жил брат императора, войско для него должно было существовать.

Поэтому в ту минуту, когда Новосильцев и Шанявский видели революцию у дверей, когда открыли несколько каких-то маленьких нитей заговоров, и в Бельведере царило оживление и чрезвычайная бдительность. Рапорты приходили по несколько раз в день, а рапортовали обо всём, что говорилось в городе, выслеживали каждого прибывшего. Приказали умножить число шпионов, а что говорить об увольнении старых! О том и речи быть не могло. Бреннер, известный хитростью, был сейчас более потребен, чем когда-либо.

Высылали его туда, где другие бы не справились, с той уверенностью, что не вернётся пустым.

Положение недавно обращённого человека становилось каждую минуту более страшным, каждое мгновение более неприятным. Разбуженная совесть закрывала ему уста, а такие Левицкие, Жандры и Круты грозили и ругались, если им ничего не приносил. Нужно было выкручиваться с чрезвычайной ловкостью, так, чтобы и ничего не сказать, и не дать догадаться, что что-то утаил.

\* \* \*

Одной из характернейших фигур того времени, которому ещё остатков оригинальной прошлой эпохи хватало, был почтенный тот седой президент Общества Друзей Наук, некогда друг и соратник Костюшки, знаменитый посол Четырёхлетнего Сейма, мацеёвицкий пленник, автор «Возвращения посла» и «Исторических песен», Юлиан Урсин Немцевич<sup>15</sup>. Всеобщее ува-

---

<sup>14</sup> Роман Станислава Костки Потоцкого.

<sup>15</sup> Немцевич Юлиан Урсин (1757?–1841) – политический деятель, писатель, участник Восстания Костюшки, был секретарём Костюшки.

жаемый старец был, несмотря на возраст и доброту характера, одним из самых злобных остроумцев своего времени. Не прощал никому, а так как живо чувствовал и возраст в нём припустил немного быстроту суждения о людях и делах людских, так как имел склонность видеть немного черно, его остроумие часто достигало и невинных, калечило безоружных.

Была это великая серьёзность, его слово распространялось далеко; поэтому, кто как умел, успокаивал старичка, чтобы не кусался. Побуждением для Немцевича никогда не была никакая личная обида, – горячий патриот, человек благородный, он возмущался на малейшую подлость, на унижение, на низость, на каждое деяние, носящее на себе пятно фальши и предательства.

Этот старец, который позже должен был умереть в изгнании, горячо работая для бедной Польши, в преддверии событий, так хорошо, как другие седовласые патриоты, не имел ни малейшего предчувствия революции. И он, и князь Чарторыйский, и Хлопицкий были в душе её противниками – с лагерем демократов они не имели не малейших отношений, содрогались от одного призрака революции.

Молодёжь должна была захватить их с собой и принудить к действию. С не меньшим ужасом, однако, и Немцевич, и другие глядели на то, что делалось в Бельведере; они понимали, что преследование вместо того чтобы взрыв предотвратить, может его ускорить. Но взрыв все себе представили как временный, с многими жертвами и немедленно подавленный.

В том кружке, в котором обращался старый Юлиан Урсин, около Виланова, Потоцких и Чарторыйских, тихонько рассказывали друг другу истории о великом князе, о генералах его, о Грабовском, о Шанявском и других ненавистных личностях. Немцевич из своего Урсинова привёз в Варшаву остроумие и угощал им на ухо своих близких, а на завтра крылатое словцо, колющее как стрела, разбегалось по всей Варшаве.

Даже в Бельведере иногда знали о нём, но старика зацеплять и не хотели, и не смели.

Неисчерпаемый в рассказах и анекдотах, Немцевич был милейшим в обществе, но уже тогда часто повторялся, а очень пылкие суждения и, сказать по правде, большое легковерие, с каким хватал любые слухи, делали его самому себе опасным. Часто также осудив кого-нибудь слишком поспешно, он должен был возвращаться потом к иному убеждению. Но, так как легко забывал о том, что у него недавно выскользнуло, не много его интересовала перемена. Отец пана Каликста, старый наполеоновский солдат, был давно знаком с Немцевичем. Он рекомендовал ему обоих своих сыновей и им также приказал, чтобы иногда напоминали ему о себе.

Руцкий так давно не имел возможности быть у Урсинова, что, имея несколько свободных от работы в бюро дней, решил туда направиться.

Было это в послеобеденный час, старичок, рано воротившись из города, съев скромный, но старательно приготовленный обед дома, сидел в холодке с несколькими знакомыми и приятелями, когда пан Каликст пришёл напомнить ему о себе.

Немцевич молодёжь особенно по-дружески чествовал, сверху, по-отцовски. Сначала ему было нужно немного подумать, прежде чем узнал Руцкого, но, припомнив сразу отца и его, впал в хорошее настроение и начал остроумничать.

Анекдотики и острые словечки сыпались одни за другими – все сердечно смеялись, но, так как в них не щадили русских, оглядывались немного за собой. Немцевич был неисчерпаем, когда начал рассказывать, поскольку умел и собирать слухи, и отлично их подавать, а при данной возможности никого не обошёл, не прицепив заплатку. Из Урсинова в Бельведер не так легко доходило эхо, тут, в этой тишине, можно было смелей говорить, чем где-нибудь ещё, и однако и тут привычка к осторожности вынуждала порой и голос снижать, и оглядываться.

В этот день очередь дошла до времён Зайончка и Соколова, которого старичок рисовал живыми красками, повторяя, как, назначенный урядником в Казначейскую палату, входя, приветствовал своих чиновников:

– Как поживаете, злодеи?



– Приветствуем нашего начальника! – отвечали ему хором.

Пришла потом очередь на лекцию конституции в Бельведере, которую Ванька великого князя был призван дать императору Александру, на историйку о медведе полковника Лунина и тому подобные обегающие в то время Варшаву анекдотики.

Каликст слушал, забавлялся, а когда наконец решил, что время было бы уйти, хотел попрощаться с Немцевичем, когда тот шепнул, чтобы остался. Вскоре гости попрощались с хозяином, который проводил их за своё огорождение, и, вернувшись к Каликсту, руки ему фамильярно положил на плечи.

– Слушай-ка, – сказал он, – ведь у тебя брат в Школе Подхорунджих?

– Так точно, пане президент.

– Ну, ты видишься с ним, имеешь связи с молодёжью? – сказал Немцевич.

Каликст кивком головы подтвердил это также.

– Слушай, что я доверительно тебе скажу, – снизив голос, отозвался старичок. – Ты знаешь, какое хищное создание сидит в Бельведере, как со времени сеймового суда шпионаж ещё возрос, как тут глаза и уши настораживают на молодёжь, а вы... вы устраиваете заговоры.

Молчащий Каликст зарумянился.

– Я не считал бы этого вам за грех, – добавил Урсин, – если бы это на что-то годилось, но это ни к чему не приведёт. Войска много, москали бдительные и сильные, хоть бы как *coup de main* на мгновение посчастливилось, будет нам стоять самой лучшей крови, дражайшей молодёжи, а ни к чему не пригодится. Воспитывайте польский дух в себе, оживляйте его, но не дайте себя, разгорячённых, втянуть на какой-нибудь безумный шаг.

– Но я ни о чём подобном не знаю, – произнёс Каликст, – и... не думаю...

– Говори что хочешь, – ответил Немцевич. – Люди знают, что что-то делается и войске и среди гражданских. Шепчут о том по салонам. Каждый заранее мучается над тем, что жертвы потянет за собой, а ни к чему не пригодится. Это напрасно! Не время. Европейская политика нас вызволит, нужно терпение. Мы надеемся на Англию и Францию и не испортим себе дела преждевременной провокацией.

Каликст слушал это напоминание.

– Скажи это брату, – добавил старичок, – и предостереги кого сможешь.

– Мне кажется, – проговорил Каликст, – что вы, пан президент, слишком черно видите молодёжь, а скорее думаете, что она слишком безрассудная и разгорячённая.

– Но потому что разгорячённая. Также её видит Стась Потоцкий, который ближе к ней приглядывается, – сказал Немцевич. – Впрочем, мой дорогой, я выполняю долг, давая вам предосторожность; вы считайте, как ей воспользоваться.

Старичок замолчал.

Было уже немного поздно, Каликст после нескольких слов ещё выбрался из Урсинова назад. То, что он тут услышал, вынудило его немедленно увидиться с братом – поспешил, поэтому, вернуться в Варшаву, но, прибыв туда, не мог уже иметь надежды увидиться ни с кем, час был слишком поздний. Предостережение, поэтому, должен был отложить до завтра, и направился прямо к дому.

Издалека уже он поглядывал на окна первого этажа и вздыхал, потому что отношения с панной Юлией каждый день становились всё ближе и счастливее. На устах его уже блуждали неоднозначные полуслова, которые, как весенние ласточки, предшествуют взаимным признаниям. Он посмотрел на часы – час для посещения Бреннеров таким неподходящим не был. Не было ещё девяти. Речь была только о том, был ли Бреннер дома или нет. Если бы он вернулся, пан Каликст не имел бы смелости навестить соседей. Ежели его не было, хоть припозднился немного, он знал, что ему бы это простили.

Угадать не умел, вздыхал о том, чтобы ему судьба навязала кого-то такого, у которого мог бы спросить... как бы нехотя.

Перед воротами каменицы стояло всё её молодое население, выбравшееся на улицу, в самых разнообразных одеждах. Ёзек с одним ранцем на спине, в рубашке и коротких штанишках, с головой, как копна сена, курящий из короткой трубочки, двое мальчиков Ноинской, один в длинной рубашке, подпоясанной лентой, другой в обширных башмачках и особенной одежде. Мальчик Арамовича был в одежде для прогулок. Пила была в работе и ребёнок. Молодёжь играла, старшие, уже курящие табак, посмеивались над ней немного. Чуть в стороне Ноинская разговаривала с кухаркой первого этажа. Увидев подходящего пана Каликста, ударили друг друга локтями.

Ему выпало пройти тут около мастерской и её приятельницы, и хотя ему хотелось спросить о Бреннере, не смел. Поэтому он только вежливо поздоровался. Его проводили глазами.

Немного выше на лестнице стояла, счастием, Агатка, состоящая в более близких отношениях с Матусовой, с которой Ёзек, её сын, несмотря на незрелость девушки, начинал первые ухаживания. Агатка, хотя предпочла бы мужчину постарше и с усами, заметив, что этот уже курил трубку, пил водку и в любой день мог обрасти щетиной, которую для этого намерения старательно сбрасывал, и, не имея при том никакой другой okazji начать сердечную карьеру, потому что мальчик Арамовича был неотёсанным, – рада была и Ёзеку. Хотела даже сойти вниз, будто бы случайно, для подшучивания над ним, но там стояла препятствием кухарка. Поэтому она ожидала на лестнице более удачного стечения обстоятельств, – когда подошёл Каликст.

Проходя, он поздоровался и с ней.

– Хозяева дома? – спросил он тихо.

– Хозяйка и панинка есть, – шепнула, немного его провожая, Агатка, – но пана советника нет.

– Уже у них поздно? – добавил осмелевший Каликст.

– Где там! – воскликнула Агатка. – Панна ещё чай не допила. Самовар ещё стоит.

– Хотите, я доложу?

Каликст немного заколебался, но тихо сказал:

– А, прошу, панинка...

Агатке очень это льстило, когда её называли панинкой – поэтому она побежала, немного слишком шумно. Панна Юлия сидела за фортепиано и, не играя ничего, блуждала так бездумно по клавишам. Она вся содрогнулась, когда вбежала Агатка.

Малуская с перевязанной головой была в другом покое.

– Панинка, пан Каликст спрашивает, не слишком ли поздно, чтобы иметь возможность принести своё почтение?

Юлия немного смешалась, поглядела на стоящую в дверях тётку.

Та, хоть её голова болела, готова была здоровой притвориться, лишь бы молодёжи услужить, – и поспешно отозвалась:

– Ну проси, проси. Слишком поздно – вот ещё!

Юлия смолчала, а Агатка стремглав бросилась в прихожую и пан Каликст вошёл. Тётя, первая любезно с ним поздоровавшись, как бы вдруг выздоровевшая, затем занялась чаем, Юлия была немного смущённой. Продолжалось это, однако, одно мгновение ока – они поглядели друг на друга и улыбка велела обо всём забыть.

Малуская, которая к тому, как она его называла, роману от души и сердца была благосклонна и рада была молодёжь сблизить друг с другом, несмотря на добродушие и простоту, поступила чрезвычайно ловко; сразу после того как разлила чай, пожаловавшись на голову, вышла. Для приличия, однако, снова перевязав голову платком, она стала прохаживаться по соседнему покою таким образом, что иногда показывалась в дверях. У молодых была полнейшая свобода для разговора и, однако, нежное око опекуни над ними издали бдило и каждую минуту она сама могла появиться, если бы в прихожей послышался Бреннер.

Мы уже вспоминали, в каких отношениях была молодёжь. В обоих пробудилась живая любовь, горячая, знающая, что победить не может, оба были убеждены, что чувство это должно быть взаимным, у обоих на устах было великое слово, решительное, и произнести его ещё не смели. Каликст уже понял Юлию.

Была ли она виноватой, что родилась дочкой того падшего так низко человека? Образование дало ей убеждения вполне иные, а те должны были быть искренними, быть подделанными так не могли. Каликст, одним словом, верил в неё, потому что её любил, а влюблен был так безумно, горячо, как в двадцать лет честное сердце влюблённым быть может.

В этот вечер всё складывалось дивно, даже до разговора. Сидели рядом. Тётка ходила вдалеке. Юлия была задумчивая, мечтающая. Играла в этот день много, а музыка оставляла после себя какую-то лёгкую горячку. Нервы её ещё дрожали, вибрировали, а звуки, жёнясь на родственных идеях, вызывали дивные мечты. Она забыла немного о настоящем, какой-то чарующий сон недавно ей снился перед глазами.

Осталась после него грусть и тоска.

– Ты только возвращаешься, – спросила она, – можно узнать, издалека?

– От старого приятеля моего отца... из Урсинова.

– От приятеля Костюшки также, – добавила Юлия. – Ведь так?

– Так точно, пани.

– Даже никогда не могла увидеть его вблизи, а так всегда желала, – говорила Юлия, – возвращаясь оттуда, ты бы должен быть весёлым и счастливым, а я вижу тучку на лице.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.